

АЗБУКА
КЛАССИКА

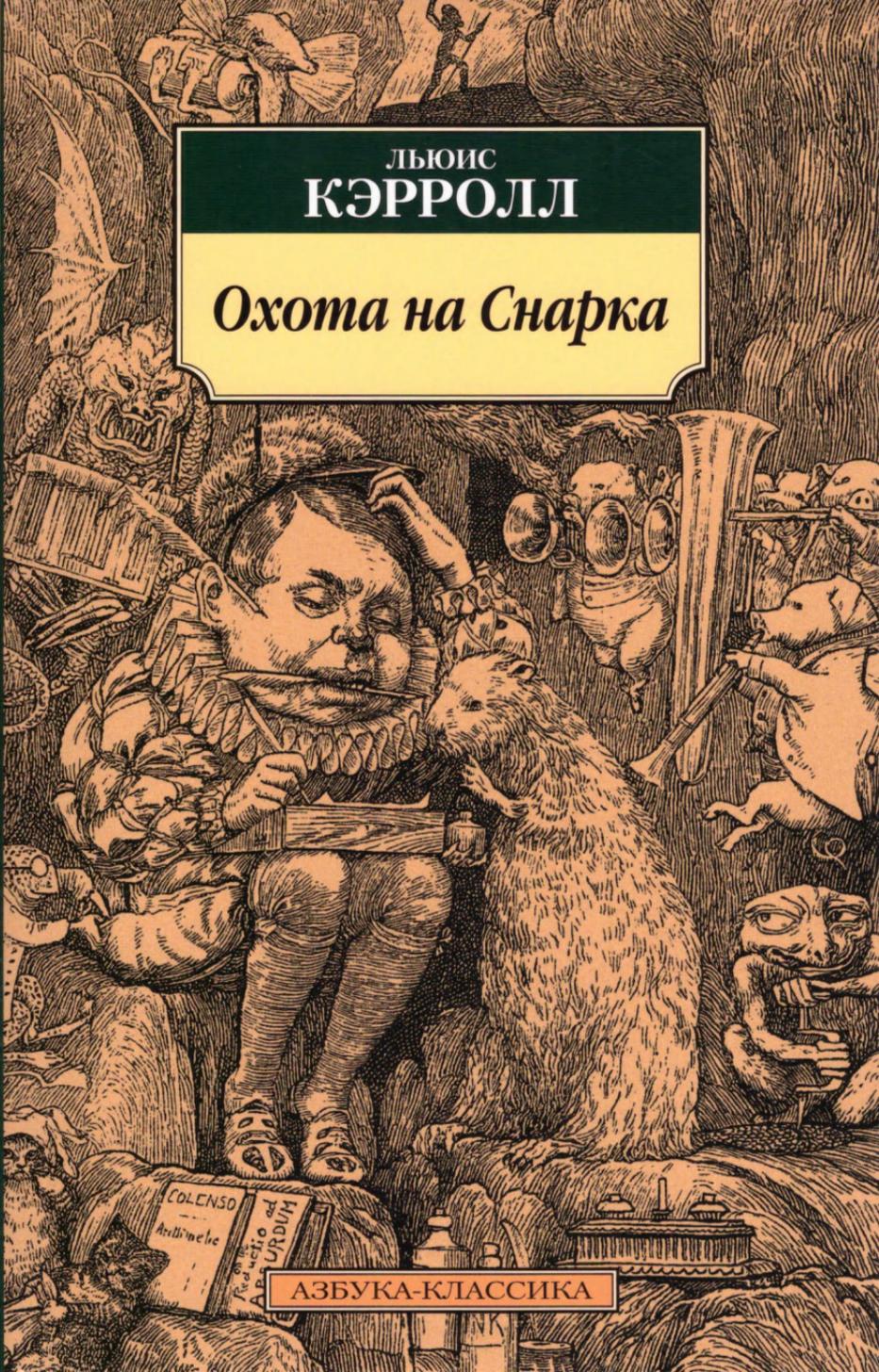
Охота на Снарка

КЭРРОЛЛ

ЛЬЮИС
КЭРРОЛЛ

Охота на Снарка

АЗБУКА-КЛАССИКА



Lewis
CARROLL
1832–1898

ЛЬЮИС
КЭРРОЛЛ

Охота на Снарка



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
К 98

Перевод с английского А. Боченкова, Г. Кружкова

Серийное оформление В. Пожидаева

Оформление обложки В. Гореликова

© Г. Кружков, перевод, 1991
© ООО «Издательство „ОКО“», перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-10132-6

Охота на Снарка

Агония в восьми воплях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Балабон, капитан и предводитель.
Билетер.
Барахольщик.
Шляпный Болванщик.
Отставной Козы Барабанщик,
он же Бывший Судья.
Бильярдный Маэстро.
Банкир.
Булочник, он же Огрызок, Дохляк и пр.
Бобер.
Браконьер.

А ТАКЖЕ

Снарк.
Буджум.
Хворобей.
Кровопир.
Призрак дядюшки.
Видения Суда.
Обитатели гор и другие.

Вопль первый ВЫСАДКА НА БЕРЕГ

«Вот где водится Снарк! — возгласил Балабон. —
Его логово тут, среди гор!»
И матросов на берег высаживал он
За ушкó, а кого — за вихор.

«Вот где водится Снарк! Не боясь, повторю:
Пусть вам духу придаст эта весть!
Вот где водится Снарк! В третий раз говорю.
То, что трижды сказал, то и есть».

Был отряд на подбор! Первым шел Билетер,
Дальше следовал шляпный Болванщик,
Барахольщик с багром, чтоб следить за добром,
И Козы Отставной Барабанщик.

Биллиардный Маэстро — отменный игрок —
Мог любого обчистить до нитки;
Но Банкир всю наличность убрал под замок,
Чтобы как-то уменьшить убытки.

Был меж ними Бобер, на уловки хитер,
По канве вышивал он прекрасно
И, по слухам, не раз их от гибели спас,
Но вот как — совершенно неясно.

Был там некто, забывший на суше свой зонт,
Сухари и отборный изюм,
Плащ, который был загодя отдан в ремонт,
И практически новый костюм.

Тридцать восемь тюков он на пристань привез,
И на каждом — свой номер и вес;
Но потом как-то выпустил этот вопрос
И уплыл в путешествие без.

Можно было б смириться с потерей плаща,
Уповая на семь сюртуков
И три пары штиблет; но, пропажу ища,
Он забыл даже, кто он таков.

Его звали: «Эй-там» или «Как-тебя-бишь»;
Отзываться он сразу привык
И на «Вот-тебе-на», и на «Вот-тебе-шиш»,
И на всякий внушительный крик.

Ну а тем, кто любил выражаться точнее,
Он под кличкой иной был знаком,
В кругу самом близком он звался Огрызком,
В широких кругах — Дохляком.

«И умом не Сократ, и лицом не Парис, —
Отзывался о нем Балабон. —
Но зато не боится он Снарков и крыс,
Крепок волей и духом силен!»

Он с гиенами шулки себе позволял,
Взглядом пробуя их укорить,
И однажды под лапу с медведем гулял,
Чтобы как-то его подбодрить.

Он как Булочник, в сущности, взят был на борт,
Но позднее признаньем потряс,
Что умеет он печь только Базельский торт,
Но запаса к нему не запас.

Их последний матрос, хоть и выглядел пнем,
Это был интересный пенек:
Он свихнулся на Снарке, и только на нем,
Чем вниманье к себе и привлек.

Это был Браконьер, но особых манер:
Убивать он умел лишь бобров,
Что и всплыло позднее, через несколько дней,
Вдалеке от родных берегов.

И вскричал Балабон, поражен, раздражен:
«Но Бобер здесь один, а не пять!
И притом это — мой, совершенно ручной,
Мне б его не хотелось терять».

И, услышав известье, смутился Бобер,
Как-то съежился сразу и скис,
И обеими лапками слезы утер,
И сказал: «Неприятный сюрприз!»

Кто-то выдвинул робко отчаянный план:
Рассадить их по двум кораблям.
Но решительно не пожелал капитан
Экипаж свой делить пополам.

«И одним кораблем управлять нелегко,
Целый день в колокольчик звеня,
А с двумя (он сказал) не уплыть далеко,
Нет уж, братцы, увольте меня!»

Билетер предложил, чтобы панцирь грудной
Раздобыл непременно Бобер
И немедленно застраховался в одной
Из надежных банкирских контор.

А Банкир, положение дел оценив,
Предложил то, что именно надо:
Договор страхования квартир от огня
И на случай ущерба от града.

И с того злополучного часа Бобер,
Если он с Браконьером встречался,
Беспричинно грустнел, отворачивал взор
И, как девушка, скромно держался.

Вопль второй РЕЧЬ КАПИТАНА

Балабона судьба им послала сама:
По осанке, по грации — лев!
Вы бы в нем заподозрили бездну ума,
В первый раз на него поглядев.

Он с собою взял в плаванье Карту Морей,
На которой земли — ни следа;
И команда, с восторгом склонившись над ней,
Дружным хором воскликнула: «Да!»

Для чего, в самом деле, полюса, параллели,
Зоны, тропики и зодиаки?
И команда в ответ: «В жизни этого нет,
Это — чисто условные знаки.

На обыденных картах — слова, острова,
Все сплелось, перепуталось — жуть!
А на нашей, как в море, одна синева,
Вот так карта — приятно взглянуть!»

Да, приятно... Но вскоре после выхода в море
Стало ясно, что их капитан
Из моряцких наук знал единственный трюк —
Балабонить на весь океан.

И когда иногда, вдохновеньем бурля,
Он кричал: «Заворачивай носом!
Носом влево, а корпусом — право руля!» —
Что прикажете делать матросам?

Доводилось им плыть и кормою вперед,
Что, по мнению бывалых людей,
Характерно в условиях жарких широт
Для снаркирующих кораблей.

И притом Балабон (говорим не в упрек)
Полагал, и уверен был даже,
Что раз надо, к примеру, ему на восток,
То и ветру, конечно, туда же.

Наконец с корабля закричали: «Земля!» —
И открылся им брег неизвестный.
Но, взглянув на пейзаж, приуныл экипаж:
Всюду скалы, провалы и бездны.

И, заметя брожение умов, Балабон
Произнес утешительным тоном
Каламбурчик, хранимый до черных времен:
Экипаж отвечал только стоном.

Он им рому налил своей щедрой рукой,
Рассадил, и призвал их к вниманью,
И торжественно (дергая левой щекой)
Обратился с докладом к собранью:

«Цель близка, о сограждане! Очень близка!»
(Все поежились, как от морозу.
Впрочем, он заслужил два-три жидких хлопка,
Разливая повторную дозу.)

«Много месяцев плыли мы, много недель,
Нам бывало и мокро, и жарко,
Но нигде не видали — ни разу досель! —
Ни малейшего проблеска Снарка.

Плыли много недель, много дней и ночей,
Нам встречались и рифы, и мели;
Но желанного Снарка, отрады очей,
Созерцать не пришлось нам доселе.

Так внимайте, друзья! Вам поведаю я
Пять бесспорных и точных примет,
По которым поймете — если только найдете, —
Кто попался вам: Снарк или нет.

Разберем по порядку. На вкус он не сладкий,
Жестковат, но приятно хрустит,
Словно новый сюртук, если в талии туг, —
И слегка привиденьем разит.

Он встает очень поздно. Так поздно встает
(Важно помнить об этой примете),
Что свой утренний чай на закате он пьет,
А обедает он на рассвете.

В-третьих, с юмором плохо. Ну, как вам сказать?
Если шутку он где-то услышит,
Как жучок, цепенеет, боится понять
И четыре минуты не дышит.

Он, в-четвертых, любитель купальных кабин
И с собою их возит повсюду,
Видя в них украшение гор и долин.
(Я бы мог возразить, но не буду.)

В-пятых, гордость! А далее сделаем так:
Разобьем их на несколько кучек
И рассмотрим отдельно — Лохматых Кусак
И отдельно — Усатых Колючек.

Снарки, в общем, безвредны. Но есть среди них...
(Тут оратор немного смутился.)
Есть и БУДЖУМЫ...» Булочник тихо поник
И без чувств на траву повалился.

Вопль третий

РАССКАЗ БУЛОЧНИКА

И катали его, щекотали его,
Растирали виски винегретом,
Тормошили, будили, в себя приводили
Повидлом и добрым советом.

И когда он очнулся и смог говорить,
Захотел он поведать рассказ.
И вскричал Балабон: « Попрошу не вопить!» —
И звонком возбужденно затряс.

Воцарилася тишь. Доносилось лишь,
Как у берега волны бурлили,
Когда тот, кого звали «Эй-как-тебя-бишь»,
Речь повел в ископаемом стиле.

«Я, — он начал, — из бедной, но честной семьи...
Мой отец...» — «Перепрыгнули это! —
Оборвал капитан. — Так, родные мои,
Мы провозимся тут до рассвета».

«Сорок лет уже прыгаю, Боже ты мой! —
Всхлипнул Булочник, вынув платок. —
Буду краток: я помню тот день роковой,
День отплытья — о, как он далек!

Добрый дядюшка мой (по нему я крещен)
На прощание мне говорил...»
«Перепрыгнули дядю!» — взревел Балабон
И сердито в звонок зазвонил.

«Он учил меня так, — не смутился Дохляк, —
Если Снарк — просто Снарк, без подвоха,
Его можно тушить, и в бульон покрошить,
И подать с овощами неплохо.

Ты с умом и со свечкой к нему подступай,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций ему угрожай
И пленяй процветанья картиной...»

«Замечательный метод! — прервал Балабон. —
Я слышал о нем, честное слово.
Подступать с упованием, я убежден, —
Это первый закон Снарколова!»

«...Но, дружок, берегись, если вдруг набредешь
Вместо Снарка на Буджума. Ибо
Ты без слуху и духу тогда пропадешь,
Не успев даже крикнуть „спасибо“.

Вот что, вот что меня постоянно гнетет,
Как припомню — потеет загривок,
И всего меня этак знобит и трясет,
Будто масло сбивают из сливок.

Вот что, вот что страшит...» — «Ну, заладил
опять!» —

Перебил предводитель в досаде.
Но уперся Дохляк: «Нет, позвольте сказать:
Вот что, вот что я слышал от дяди.

И в навязчивом сне Снарк является мне
Сумасшедшими, злыми ночами,
И его я крошу, и за горло душу,
И к столу подаю с овощами.

Но я знаю, что если я вдруг набреду
Вместо Снарка на Буджума, — худо!
Я без слуху и духу тогда пропаду
И в природе встречаться не буду».

Вопль четвертый НАЧАЛО ОХОТЫ

Балабон покачал головой: «Вот беда!
Что ж вы раньше сказать не сумели?
Подложить нам такую свинью — и когда! —
В двух шагах от намеченной цели.

Все мы будем, конечно, горевать безутешно,
Если что-нибудь с вами случится;
Но зачем же вначале вы об этом молчали,
Когда был еще шанс воротиться?

А теперь — подложить нам такую свинью! —
Снова вынужден вам повторить я». —
И со вздохом Дохляк отвечал ему так:
«Я вам все рассказал в день отплытья.

Обвиняйте в убийстве меня, в колдовстве,
В слабоумии, если хотите;
Но в увертках сомнительных и в плутовстве
Я никак не повинен, простите.

Я вам все по-турецки тогда объяснил,
Повторил на фарси, на латыни;
Но сказать по-английски, как видно, забыл —
Это мучит меня и поныне».

«Очень, очень прискорбно, — пропел Балабон. —
Хоть отчасти и мы виноваты.
Но теперь, когда этот вопрос разъяснен,
Продолжать бесполезно дебаты.

Разберемся потом, дело нынче не в том,
Нынче наша забота простая:
Надо Снарка ловить, надо Снарка добыть —
Вот обязанность наша святая.

Его надо с умом и со свечкой искать,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций ему угрожать
И пленять процветанья картиной!

Снарк — серьезная птица! Поверьте, друзья,
Предстоит нам совсем не потеха;
Мы должны все, что можно, и все, что нельзя,
Совершить — но добиться успеха.

Так смелей же вперед, ибо Англия ждет!
Мы положим врага на лопатки!
Кто чем может себя оснащай! Настает
Час последней, решительной схватки!»

Тут Банкир свои слитки разменял на кредитки
И в гроссбух углубился угрюмо,
Пока Булочник, баки разьерошив для драки,
Выколачивал пыль из костюма.

Билетер с Барахольщиком взяли брусок
И лопату точили совместно,
Лишь Бобер продолжал вышивать свой цветок,
Что не очень-то было уместно, —

Хоть ему Барабанщик (и Бывший Судья)
Объяснил на примерах из жизни,
Как легко к вышиванию шьется статья
Об измене гербу и отчизне.

Бедный Шляпный Болванщик, утратив покой,
Мял беретку с помпончиком белым,
А Бильярдный Маэстро дрожащей рукой
Кончик носа намазывал мелом.

Браконьер нацепил кружевное жабо
И скулил, перепуган до смерти;
Он признался, что очень боится «бо-бо»
И волнуется, как на концерте.

Он просил: «Не забудьте представить меня,
Если Снарка мы встретим в походе».
Балабон, неизменную важность храня,
Отозвался: «Смотря по погоде».

Видя, как Браконьер себя чинно ведет,
И Бобер, осмелев, разыгрался;
Даже Булочник, этот растяпа, и тот
Бесшабашно присвистнуть пытался.

«Ничего! — предводитель сказал. — Не робей!
Мы куда еще накануне
Главных дел. Вот как встретится нам ХВОРОБЕЙ,
Вот тогда пораспустите нюни!»

Вопль пятый УРОК БОБРА

И со свечкой искали они, и с умом,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.

И решил Браконьер в одиночку рискнуть,
И, влекомый высокою целью,
Он бесстрашно свернул на нехоженный путь
И пошел по глухому ущелью.

Но рискнуть в одиночку решил и Бобер,
Повинуясь наитью момента —
И при этом как будто не видя в упор
В двух шагах своего конкурента.

Каждый думал, казалось, про будущий бой,
Жаждал подвига, словно награды! —
И не выдал ни словом ни тот, ни другой
На лице проступившей досады.

Но все уже тропа становилась, и мрак
Постепенно окутал округу,
Так что сами они не заметили, как
Их притерло вплотную друг к другу.

Вдруг пронзительный крик, непонятен и дик,
Над горой прокатился уныло;
И Бобер обомлел, побелев, точно мел,
И в кишках Браконьера заныло.

Ему вспомнилась милого детства пора,
Невозвратные светлые дали —
Так похож был тот крик на скрипенье пера,
Выводящего двойку в журнале.

«Это крик Хворобья! — громко выдохнул он
И на сторону сплюнул от сглазу. —
Как сказал бы теперь старина Балабон,
Говорю вам по первому разу.

Это клич Хворобья! Продолжайте считать,
Только в точности, а не примерно.
Это — песнь Хворобья! — повторяю опять.
Если трижды сказал, значит, верно».

Всполошенный Бобер скрупулезно считал,
Всей душой погрузившись в работу,
Но когда этот крик в третий раз прозвучал,
Передрейфил и сбился со счета.

Все смешалось в лохматой его голове,
Ум за разум зашел от натуги.
«Сколько было вначале — одна или две?
Я не помню», — шептал он в испуге.

«Этот палец загнем, а другой отогнем...
Что-то плохо сгибается палец;
Вижу, выхода нет — не сойдется ответ», —
И заплакал несчастный страдалец.

«Это — легкий пример, — заявил Браконьер. —
Принесите перо и чернила;
Я решу вам шутя этот жалкий пример,
Лишь бы только бумаги хватило».

Тут Бобер притащил две бутылки чернил,
Кипу лучшей бумаги в портфеле...
Обитатели гор выползали из нор
И на них с любопытством смотрели.

Между тем Браконьер, прикипая к перу,
Все строчил без оглядки и лени,
В популярном ключе объясняя Бобру
Ход научных своих вычислений.

«За основу берем цифру, равную трем
(С трех удобней всего начинать),
Приплюсуем сперва восемьсот сорок два
И умножим на семьдесят пять.

Разделив результат на шестьсот пятьдесят
(Ничего в этом трудного нет),
Вычтем сто без пяти и получим почти
Безошибочно точный ответ.

Суть же метода, мной примененного тут,
Объяснить я подробней готов,
Если есть у вас пара свободных минут
И хотя бы крупица мозгов.

Впрочем, вникнуть, как я, в тайники бытия,
Очевидно, способны не многие;
И поэтому вам я сейчас преподам
Популярный урок зоологии».

И он с пафосом стал излагать матерьял
(При всеобщем тоскливом внимании) —
Забывая, что вдруг брать людей на испуг
Неприлично в приличной компании.

«Хворобей — провозвестник великих идей,
Устремленный в грядущее смело;
Он душою свиреп, а одеждой нелеп,
Ибо мода за ним не поспела.

Презирает он взятки, обожает загадки,
Хворобейчиков держит он в клетке
И в делах милосердия проявляет усердие,
Но не жертвует сам ни монетки.

Он на вкус превосходней кальмаров с вином,
Трюфелей и гусиной печенки;
Его лучше в горшочке хранить костяном
Или в крепком дубовом бочонке.

Вскипятите его, остудите во льду
И немножко припудрите мелом,
Но одно безусловно имейте в виду:
Не нарушить симметрию в целом!»

Браконьер мог бы так продолжать до утра,
Но — увы! — было с временем туго;
И он тихо заплакал, взглянув на Бобра,
Как на самого близкого друга.

И Бобер ему взглядом признался в ответ,
Что он понял душою за миг
Столько, сколько бы он и за тысячу лет
Не усвоил из тысячи книг.

Они вместе в обнимку вернулись назад,
И воскликнул Банкир в умилении:
«Вот воистину лучшая нам из наград
За убытки, труды и терпение!»

Так сдружились они, Браконьер и Бобер —
Свет не видел примера такого, —
Что никто и нигде никогда с этих пор
Одного не встречал без другого.

Ну а если и ссорились все же друзья
(Впрочем, крайне беззубо и вяло),
Только вспомнить им стоило песнь Хворобья,
И размолвки их как не бывало!

Вопль шестой СОН БАРАБАНЩИКА

И со свечкой искали они, и с умом,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.

И тогда Барабанщик (и Бывший Судья)
Вздумал сном освежить свои силы,
И возник перед ним из глубин забвения
Давний образ, душе его милый.

Ему снился таинственный сумрачный Суд
И внушительный Снарк в парике
И с моноклем в глазу, защищавший козу,
Осквернившую воду в реке.

Первым вышел Свидетель, и он подтвердил,
Что артерия осквернена.
И по просьбе Судьи зачитали статьи,
По которым вменялась вина.

Снарк (защитник) в конце выступления взмок,
Говорил он четыре часа;
Но никто из собравшихся так и не смог
Догадаться, при чем тут коза.

Впрочем, мненья присяжных сложились давно,
Всяк отстаивал собственный взгляд,
И решительно было ему все равно,
Что коллеги его говорят.

«Что за галиматья!» — возмутился Судья.
Снарк прервал его: «Суть не в названьях,
Тут важнее, друзья, сто восьмая статья
Уложения о наказаньях.

Обвиненье в измене легко доказать,
Подстрекательство к бунту — труднее,
Но уж в злостном банкротстве козу обвинять,
Извините, совсем ахинея.

Я согласен, что за осквернение реки
Кто-то должен быть призван к ответу,
Но ведь надо учесть то, что алиби есть,
А улики убедительных нету.

Господа! — Тут он взглядом присяжных обвел. —
Честь моей подзащитной всецело
В вашей власти. Прошу обобщить протокол
И на этом суммировать дело».

Но Судья никогда не суммировал дел —
Снарк был должен прийти на подмогу;
Он так ловко суммировать дело сумел,
Что и сам ужаснулся итогу.

Нужно было вердикт огласить, но опять
Оказалось Жюри в затрудненье:
Слово было такое, что трудно понять,
Где поставить на нем ударенье.

Снарк был вынужден взять на себя этот труд,
Но когда произнес он: «ВИНОВЕН!» —
Стон пронесся по залу, и многие тут
Повалились бесчувственной бревен.

Приговор зачитал тоже Снарк — у Судьи
Не хватило для этого духу.
Зал почти не дышал, не скрипели скамьи,
Слышно было летящую муху.

Приговор был: «Пожизненный каторжный срок,
По отбытии же оно — штраф».
— Гип-ура! — раза три прокричало Жюри,
И Судья отозвался: «Пиф-паф!»

Но тюремщик, роняя слезу на паркет,
Поуменьшил восторженность их,
Сообщив, что козы уже несколько лет,
К сожалению, нету в живых.

Оскорбленный Судья, посмотрев на часы,
Заседанье поспешно закрыл.
Только Снарк, верный долгу защиты козы,
Бушевал, и звенел, и грозил.

Все сильней, все неистовей делался звон —
Барабанщик очнулся в тоске:
Над его головой бушевал Балабон
Со звонком капитанским в руке.

Вопль седьмой СУДЬБА БАНКИРА

И со свечкой искали они, и с умом,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.

И Банкир вдруг почуял отваги прилив
И вперед устремился ретиво;
Но — увы! — обо всем, кроме Снарка, забыв,
Оторвался он от коллектива.

И внезапно ужасный пред ним Кровопир
Появился, исчадие бездны,
Он причмокнул губами, и пискнул Банкир,
Увидав, что бежать бесполезно.

— Предлагаю вам выкуп — семь фунтов и пять,
Чек выписываю моментально!
Но в ответ Кровопир лишь причмокнул опять
И притом облизнулся нахально.

Ах, от этой напасти, от оскаленной пасти
Как укрыться, скажите на милость?
Он подпрыгнул, свалился, заметался, забился,
И сознание его помутилось.

Был на жуткую гибель Банкир обречен,
Но как раз подоспела подмога.
— Я вас предупреждал! — заявил Балабон,
Прозвенев колокольчиком строго.

Но Банкир слышал звон и не ведал, где он,
Весь в лице изменился, бедняга,
Так силен был испуг, что парадный сюртук
У него побелел как бумага.

И запомнили все странный блеск его глаз
И как часто он дергался, будто
Что-то важное с помощью диких гримас
Объяснить порывался кому-то.

Он смотрел сам не свой, он мотал головой,
Улыбаясь наивней ребенка,
И руками вертел, и тихонько свистел,
И прищелкивал пальцами звонко.

— Ах, оставьте его! — предводитель сказал. —
Надо помнить про цель основную.
Уж закат запылал над вершинами скал:
Время Снарком заняться вплотную!

Вопль восьмой ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

И со свечкой искали они, и с умом,
С упованием и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.

Из ущелий уже поползла темнота,
Надо было спешить следотопам,
И Бобер, опираясь на кончик хвоста,
Поскакал кенгуриным галопом.

— Тише! Кто-то кричит! — закричал Балабон.
Кто-то машет нам шляпой своей.
Это — «Как-его-бишь», я клянусь, это он,
Он до Снарка добрался, ей-ей!

И они увидали: вдали, над горой,
Он стоял среди клубящейся мглы,
Беззаветный Дохляк — Неизвестный Герой
На уступе отвесной скалы.

Он стоял, горд и прям, словно Гиппопотам,
Неподвижный на фоне небес,
И внезапно (никто не поверил глазам)
Прыгнул в пропасть, мелькнул и исчез.

«Это Снарк!» — долетел к ним ликующий клик,
Смелый зов, искушавший судьбу,
Крик удачи и хохот... и вдруг, через миг,
Ужасающий вопль: «Это — Бууу!..»

И — молчанье! Иным показалось еще,
Будто отзвук, похожий на «джум»,
Прошуршал и затих. Но, по мнению других,
Это ветра послышался шум.

Они долго искали вблизи и вдали,
Проверяли все спуски и списки,
Но от храброго Булочника не нашли
Ни следа, ни платка, ни записки.

Недопев до конца лебединый финал,
Недовыпекши миру подарка,
Он без слуху и духу внезапно пропал —
Видно, Буджума принял за Снарка!

Рассказы

ЗАМОК КРАНДЛ

Глава первая

«ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ЛЮБИ И МОЮ СОБАКУ»

— Моя дорогая мисс Примминс, — сказала миссис Когсби, приятная, излучающая уют дама. Сия дородная добродушная особа этим теплым летним вечером была занята самым приятным для всякого садовода занятием, состоявшим в ампутировании нескольких засохших розовых бутонов посредством огромного тесака, явно сконструированного для умерщвления крокодилов, каковым инструментом она орудовала с изумительной ловкостью, выказывая не больше эмоций, чем если бы это был самый изящный дамский перочинный ножик. — Моя дорогая мисс Примминс, вы даже шагу не делаете, пока не выпьете стаканчик бузинного вина. Кроме того, вы еще не видели моего милого Гагги в этом *возрасте*, а он стал выглядеть *настолько* лучше! — Упомянутый милый Гагги был довольно упитанным мальчиком примерно шести лет от роду, служивший постоянным источником радости для своей мамы и объектом ненависти для всех соседей, которых миссис Когсби до невозможности терроризировала вечерами напролет, заставляя восхи-

щаться своим чадом и выслушивать рассказы о его подвигах. Его приносили в комнату исключительно по настоянию матери, причем именно приносили, хотя наиболее наблюдательные из ее гостей замечали, что нянька брала его на руки перед самой дверью, поскольку ни одна нянька в человеческом обличье не смогла бы пронести его десять ярдов, не уронив.

— Чес-слово, мэм, — начала нынешняя жертва, полуразложившегося вида молодая дама, явно не вчера разменявшая восьмой десяток, с трудом пропихивая слова через удивительно крошечный ротик, — чес-слово, мэм, я даже помыслить не могу, чтобы нарушить ваше уединение.

Но поскольку миссис Когсби и слышать ничего не хотела, то вскоре гостя уже сидела в гостиной, куда в течение получаса были согнаны еще восемь или десять других жертвенных агнцев, после чего собранию представили милого Гагги.

— О, какой очаровательный мальчик! — воскликнули все хором, едва дитя появилось в дверях. Очаровательный мальчик, стоя на материнском колене, засунул большой палец в рот и не удостоил никого из присутствующих ни словом.

— Я просто обязана показать вам, — начала миссис Когсби, — замечательное произведение, созданное Гагсби. Это портрет его отца, удивительно на него похожий, — (все присутствующие как один подняли брови), — только бедняжка даже не захотел на него взглянуть, когда я его ему сегодня показывала, а испарился в мгновение ока (вероятно, миссис Когсби имела в виду, что он исчез «в мгно-

вание ока», так что она «и охнуть не успела»; она часто путала разные слова и выражения). В этот момент раздался тихий стук в дверь.

Глава вторая

Когда дверь отворилась, в комнату робко втиснулся мистер Когсби-старший: он обвел присутствующих тревожным взглядом, узрел, что мисс Приминс находится в процессе изучения его портрета, и, издав слабый, но полный ужаса крик, рухнул в кресло. Миссис Когсби подлетела к нему и посредством самых энергических ударов, метко нацеленных между лопаток, с успехом восстановила в нем искру жизни.

— Мой дорогой Альфред, — укоризненно пробормотала она ему на ухо, как только заметила признаки возвращающегося сознания, — подумать только, что *ты* мог поддаться этой слабости! *Ты*, для которого, уверена, я всегда была *больше* чем мать...

— Прошу прощения, мэм, — вмешался бледный высокий молодой человек, наклоняясь над стулом и не выпуская изо рта здоровенный набалдашник короткой тросточки, — но вы разве не его *бабушка*?

— Сэр! — сказала миссис Когсби, награждая молодого человека испепеляющим взглядом, который в одно мгновение заставил его замолчать. Даже в этот ужасный момент она сохранила достаточное присутствие духа, чтобы позвонить в колокольчик. — Выведите этого *субъекта* вон! — молвила

она умирающим голосом, и молодой человек, несколько изумленный эффектом, который произвели его слова, последовал за негодующей служанкой, возмущенной тем, что ее хозяйку *каким-то* образом оскорбили, хотя каким именно, она точно не представляла. После того как опасность миновала, миссис Когсби пришло в голову, что теперь настал *ее* черед устроить сцену, и, не откладывая дело в долгий ящик, возопила: — Животное! зверь! называть... молодую даму... которой нет... и тридцати... назвать ее... *б-бабушкой*... О! — И здесь, достигнув кульминационной точки, она, исполнив свой любимый маневр, рухнула на диван и замерла в самой живописной позе.

В следующее мгновение Гагги издал придушенный, но полный агонии крик — ножки этого прекрасного младенца едва различимо торчали из-под платья матери.

Глава третья

Любимый сын энергично колотил ножками миссис Когсби, в то время как ее обеспокоенные подруги, со своей стороны, применяли всевозможные неслыханные доселе средства, пытаясь привести ее в чувство. Больше всех среди них выделялась мисс Примминс с пучком горелых перьев в одной руке и пузырьком нюхательной соли в другой. Мистер Когсби исчез в первый же момент поднявшейся суматохи; теперь он снова появился с удовлетворенной улыбкой на лице и, прежде чем кто-либо успел ему помешать, обдал свою жену всем

содержимым очень большого ведра с водой. Все признаки обморока мгновенно улетучились, и миссис Когсби, с яростью и мщением в пылающих глазах, вышла из состояния прострации, схватила перепуганного мужа за ухо и препроводила из комнаты. Несчастливого Гагги, которому никто даже не посочувствовал, оставили в раздавленном, даже, в некотором смысле, вафлеобразном состоянии на диване, где он несколько часов спустя был обнаружен горничной, которая забрела в комнату, привлеченная тоскливыми стенаниями.

Из соседнего помещения раздавались вопли и звуки ударов, и присутствующие женского пола, заткнув уши, ринулись из дома, бросив мистера Когсби на произвол судьбы. Джендльмены были только счастливы последовать за дамами, и вскоре никого не осталось, за исключением одного глухого господина, который не имел ни малейшего представления о том, что произошло, и так и сидел в углу, скрестив ноги, со спокойной и безмятежной улыбкой на лице.

Что далее происходило в доме мистера Когсби, не нам говорить; заметим только, что по прибытии домой с мисс Примминс случился жесточайший истерический припадок.

Глава четвертая

Глубочайшую антипатию и самую стойкую неприязнь по прошествии времени можно постепенно преодолеть, и хотя в течение последующих ше-

сти месяцев мисс Примминс являла собой воплощение оскорбленной невинности, несмотря на то что она выразила самое крайнее отвращение в отношении поведения мистера Когсби и самым торжественным образом поклялась никогда больше не входить в жилище семейства Когсби, тем не менее, когда миссис Когсби прислала ей приглашение на свой ежегодный бал, в день накануне Нового года не было никого, кто бы подчинился ее призывам с большей готовностью или прибыл с большей пунктуальностью к назначенному часу, чем мисс Примминс. Когда она явилась, облаченная в открытое атласное платье цвета самой насыщенной берлинской лазури, с тиарой, украшенной драгоценностями, на голове, изысканно рассыпав по плечам золотисто-каштановые локоны (локоны, совершенно по праву ей принадлежащие, поскольку она лично заплатила за них в парикмахерской лавке), цветя свежим румянцем молодости, — никто из тех, кто увидел ее в тот момент, и представить не мог, что это привычная, всем знакомая мисс Примминс с ее землистым лицом, которая славилась как самая злобная и язвительная сплетница в городе. Представить себе такое — все равно что вообразить, будто она Самодержец Всероссийский. Там же присутствовал и мистер Огастес Бимм, раскаявшийся во всех своих прошлых преступлениях и прощенный миссис Когсби. И конечно, в комнату принесли очаровательного Гагги, который после того, как отдал ноги трем джентльменам, столкнул тарелку с тортом на колени одной даме и устроил на столе кофейный потоп, был наконец доведен до слез

и сослан в постель за то, что перекинул лампу, которая свалилась на мисс Примминс. Все присутствующие немедленно принялись «гасить» мисс Примминс, которая, окутанная пламенем, была в конце концов завернута мистером Огастесом Биммом в каминный коврик и в итоге потушена. Едва все уладилось, как произошло еще более ужасающее событие. Какое-то мгновение присутствующие наблюдали ноги мистера Когсби, балансирующие на подоконнике открытого окна, а в следующую секунду он исчез.

Глава пятая

Все бросились к окну; наиболее наблюдательные заметили, что злосчастный мистер Когсби торчит в одной из цветочных клумб в перевернутом виде, дрожа как осиновый лист на ветру: судя по всему, несчастный джентльмен, объятый ужасом при виде несчастного случая, жертвой которого пала мисс Примминс, постепенно пятился от очага возгорания, пока в конце концов не выпятился из комнаты в той манере, которая была описана в предыдущей главе. Мистер Огастес Бимм мгновенно оказался на месте, выкорчевал полузадохнувшегося мистера Когсби и отнес на руках в дом, где поручил материнской заботе его жены (на *этот* раз он не рискнул поручить сего джентльмена ее *бабушкиной* заботе), и, поздравляя самого себя, возвратился в таком приподнятом состоянии к дымящейся мисс Примминс, которая от полноты

чувств *сразу* сняла с себя свое (фальшивое) брильянтовое кольцо и взяла на себя смелость преподнести его мистеру Бимму с выражениями восхищения в знак своей искренней благодарности.

Когда среди возбужденных гостей постепенно воцарился порядок и миссис Когсби вернулась с приятным известием о том, что единственным результатом падения мистера Когсби явились одеревенение в области шеи и легкий приступ посттравматической эйфории, беседа продолжилась своим обычным ходом, и мисс Примминс, заняв свое место рядом с миссис Когсби, осмелилась попросить ее совета в отношении одного важного дела: она думает, сказала она, устроить небольшой вечер для детей через несколько дней, но *не совсем* уверена, как именно это сделать.

— Неужели?! В самом деле думаете?! — восторженно воскликнула миссис Когсби. — Какая прелесть! Что ж, я уверена, что окажу вам все возможное содействие. Я даже не буду возражать против того, чтобы вы одолжили у меня для этого случая милого Гагги, который, я уверена, станет душой всего мероприятия.

— Да нет, это не совсем то, — сказала мисс Примминс, нервно закашлявшись, чтобы скрыть внезапное замешательство, поскольку не предвидела подобного предложения. Откровенно говоря, единственное, чего она хотела, так это избежать присутствия этого ненавидимого всеми дитяти. — Я, вообще-то, просила у вас не *его*, понимаете, миссис Когсби.

— Я *знаю*, что не просили, моя дорогая мисс Примминс, — сказала миссис Когсби, нежно кладя

руку на ее предплечье, — ваша природная деликатность слишком велика, чтобы вы позволили себе попытаться разлучить мать с ее милым младенцем, как бы сильно вам этого ни хотелось. Но вряд ли мне стоит говорить, что я *полностью* уверена в вашей рассудительности и опыте и, не испытывая ни малейших колебаний, доверяю своего драгоценного ребенка вашему попечению, — нет, и никогда не испытывала бы колебаний, будь он хоть сотней Гагги!

Мисс Примминс передернуло от мысли о сотне Гагги, и она продолжила с несколько меньшей надеждой, чем ранее:

— Но вы ведь понимаете, миссис Когсби... я так нервничаю! И вообще... группа... детей... то есть я не хотела сказать, что... но... вы понимаете, что я имею в виду... собственно говоря... по этим причинам... боюсь, что должна... отклонить... обще... общество... в-вашего... драгоценного Гагги.

Глава шестая

— Моя *дорогая* мисс Примминс, — сказала миссис Когсби, — я понимаю ваши сомнения и, будьте уверены, поступлю соответственно.

— Благодарю вас, благодарю, — ответила взволнованная мисс Примминс. — Я уверена, что вы меня понимаете... понимаете, что мне хочется... что я, знаете ли... я не имела в виду... но понимаете лучше, чем я смогла бы выразить это сама.

— Да-да, я прекрасно вас понимаю, — заверила миссис Когсби, и на этом обе дамы расстались: од-

на из них направилась на поиски мистера Огастеса Бимма, чтобы еще раз заверить его, что она никоим образом не пострадала, только испугалась, и что чувство благодарности к нему сохранится в ее сердце до последней минуты ее жизни; вторая же — чтобы провести остаток вечера, похваляясь перед своими гостями достижениями Гагги.

Наконец благословенный день настал, и мисс Примминс, с дрожащими руками, лично приступила к украшению стола яствами, которые, по ее намерению, должны были создать впечатление пиршества у ее юных гостей. Ей помогала, точнее, мешала надменная служанка, которая постоянно ворчала на свою хозяйку, упрекая ее в невежестве и одновременно жалуясь на то, что от таких мероприятий одни только неприятности, и регулярно завершала фрагменты своих речей фразой: «Ну вот, я же вам говорила, дайте-ка лучше я это сделаю!» — после чего выхватывала из ее рук тарелку или другой предмет сервировки. Постепенно, один за другим, начали приходить ее маленькие гости; робко поживаясь, они останавливались в дверях, не решаясь войти.

— Как поживаете, мои милые? — говорила мисс Примминс. — Может быть, снимете свои капоры?

— Ну вот, давайте-ка лучше я это сделаю! — недовольным голосом перебивала ее горничная.

Когда все собрались, мисс Примминс, испытывая радостные чувства, уже было принялась считать головы, но тут дверь отворилась и в комнату бодрым шагом прошествовал мастер Джордж Когсби.

Глава седьмая

«УЖАСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ»

Мастер Джордж Когсби, который, как уже известно читателю, с гордостью носил ласкающее слух прозвище Гагги, вошел в комнату, и мисс Примминс, на лице которой живо отобразилась самая сильная степень отвращения, встала, чтобы его поприветствовать.

— Мое *милое* дитя, — начала она, — я *рада* тебя видеть, как поживает твоя мамочка?

— Не знаю, — разумно ответило милое дитя, и мисс Примминс повернулась к остальным гостям со словами:

— Что ж, я надеюсь, вы все получите удовольствие. — И сопроводила фразу таким взглядом, который недвусмысленно говорил: «Но не думаю, что теперь у вас есть хоть малейший шанс!» Затем она занялась организацией игр, однако мастер Гагги не желал ничего делать, ни в чем принимать участия, но постоянно расхаживал по комнате, щипая гостей и наслаждаясь их визгом; наконец он занял позицию возле самой мисс Примминс, которая наигрывала энергичную польку для оживления общей атмосферы.

Послушав с глубочайшим вниманием некоторое время, в течение какого периода он успел открутить три струны внутри пианино, Гагги вдруг спросил:

- Без этого музыка не выйдет, мисс Прим?
- Без чего, драгоценный мой?
- Если не оттопыривать щеку языком?

— Нет, любовь моя, — поспешно ответила мисс Примминс и, поднявшись со стула, ретировалась в противоположный угол комнаты. После чего прелестный младенец продолжил изучать внутреннее устройство музыкального инструмента, закончив тем, что напрочь отломал педаль.

Наконец, после того как Гагги удалось вызвать у всех детей чувство полнейшего неудовольствия и бурные слезы у трех девочек, мисс Примминс решила, что пора пригласить их к чаю, который был подан в другой комнате. В самом центре стола стоял чудесный торт; мисс Примминс раздала по большому куску всем гостям, а затем покинула комнату, чтобы принести вина. По возвращении она обнаружила, что оставшаяся половина торта исчезла.

— Джейн, — конфиденциальным шепотом спросила она, — что ты сделала с остальным тортом?

— Представьте себе, мэм, — последовал ответ таким же тихим шепотом, — представьте себе, мастер Когсби его съел!

Глава восьмая

«ЧАС ПОЧТИ НАСТАЛ»

Мисс Примминс в ужасе повернулась к мастеру Когсби: рука младенца судорожно сжимала огромный кусок торта, щеки раздулись до предела, челюсти совершали вялые попытки прийти в движение. Испустив гневный вопль, мисс Примминс вышибла торт из его рук, схватила за волосы одной рукой

и осыпала его спину градом тяжелых ударов, поставивших под угрозу немедленной кончины жизнь милого дитя. Торт мгновенно проскользнул в желудок младенца, и из его прекрасного ротика исторгся такой жуткий, неблагозвучный вопль, что все гости, заткнув уши, дабы не слышать этого ужасного рева, молниеносно вылетели из комнаты.

Мисс Примминс, не ослабляя хватки, стойко выдерживала это невероятное испытание в течение полных двадцати секунд, после чего, обнаружив, что рев, вместо того чтобы уменьшиться, становится еще хуже и постепенно набирает мощь, стремясь к кульминационной ноте, недостижимой даже для трех паровых двигателей, ревущих одновременно, она оставила свой пост и убежала наверх в салон, где спрятались остальные гости.

Даже там был хорошо различим голос Гагги, эхом гремевший по всему дому и заставлявший содрогаться стены. В качестве последнего средства мисс Примминс позвала горничную, выдала ей кувшин с водой и закричала в ухо, чтобы ее слова можно было расслышать сквозь какофонию:

— Будьте так любезны отнести этот кувшин в столовую и вылить его *на мастера Когсби!*

Горничная удалилась, и мисс Примминс села, мысленно считая секунды, которые должны пройти, прежде чем горничная достигнет места назначения. «Сейчас, — думала она, — горничная на площадке второго этажа, а сейчас проходит мимо окна. Сейчас она в зале, к этому моменту, должно быть, уже подошла к двери в столовую, а сейчас...» Пока она это думала, рев стал постепенно утихать и ком-

пания начала надеяться, что вскоре он и вовсе прекратится, но, как только мисс Примминс достигла указанной точки в своих расчетах, дом содрогнулся сверху донизу, и в ее ушах громыхнул такой неожиданный и непередаваемо ужасный рев, который можно сравнить лишь с взрывом крупного порохового завода, набитого целым зоопарком диких зверей. Пятеро из присутствующих упали в обморок на месте; остальные, скорчившись на полу, вцепились друг в друга в немом и мучительном ужасе, а когда последнее эхо жуткого звука замерло вдали, единственное, что нарушало молчание, было рваное дыхание перепуганной до смерти мисс Примминс. Наступившая затем тишина была почти такой же пугающей, как и рев, и мисс Примминс, едва придя в себя, на дрожащих ногах поспешила вниз, где обнаружила Гагги, значительно расстроенного, но вполне тихого, который стоял возле стола с открытым ртом, мокрый, как утонувшая крыса. На полу стоял пустой кувшин, а возле него растянулась потерявшая сознание несчастная горничная.

Глава девятая

На следующий день мисс Примминс покинула свой дом, а несколько месяцев спустя миссис Когсби получила пару свадебных открыток и кусок свадебного торта от «Мистера и миссис Бимм».

ТРОСТЬ СУДЬБЫ

Глава первая

Еще до того, как взошло солнце, барон уже два нескончаемых часа расхаживал по своим гобеленовым покоем. Время от времени он останавливался у открытого окна и бросал взгляд с головокружительной высоты на раскинувшуюся внизу землю. В эти мгновения суровая улыбка озаряла его угрюмое чело, и, бормоча себе под нос «сгодится» с приглушенным акцентом, он снова продолжал свою одинокую прогулку.

Воссияло яркое солнце и осветило темный мир светом дня, но надменный барон продолжал мерить шагами свои покои, только шаг его стал торопливее и нетерпеливее, чем раньше, и не однажды он застывал в неподвижности, обеспокоенно и чутко прислушиваясь, затем разворачивался с разочарованным видом, и по челу его пробегала мрачная тень. Вдруг пронзительно завизжала труба, висевшая у ворот замка; барон услышал ее и, яростно колотя себя в грудь сжатыми кулаками, пробормотал горьким шепотом: «Час близится, я должен собраться с духом для решительных действий». Затем, бросившись в мягкое кресло, он поспешно

опрокинул в себя содержимое большого кубка с вином, который стоял на столе, и тщетно попытался принять невозмутимый вид. Дверь неожиданно распахнулась, и слуга торжественно объявил: «Синьор Блоуски!»

— Прошу вас, садитесь! Синьор, сим утром вы раненько пришли ко мне... Эй, Алонзо! Принеси синьору вина! Хорошенько сдобри его пряностями, мой мальчик! Ха-ха-ха! — И барон громко и шумно засмеялся, но смех его был вымученным и порожним. Тем временем гость, который до сих пор не промолвил ни слова, аккуратно снял с себя шляпу и перчатки и сел напротив барона, после чего, подождав, пока затихнет смех, заговорил резким, скрипучим голосом:

— Барон Маггзвиг приветствует вас и шлет вам вот это. — Но почему лицо барона вдруг побледнело? Отчего задрожали его пальцы, да так, что он едва смог вскрыть письмо? Он мельком взглянул на лежавший внутри листок и сразу же снова поднял голову.

— Отведайте вина, синьор, — произнес он странно изменившимся голосом, — угощайтесь, прошу вас, — и протянул гостю один из кубков, которые только что принес слуга.

Синьор принял его с улыбкой, приложился к нему губами и затем, тихо и незаметно от барона поменяв кубки, одним глотком осушил второй кубок наполовину. В этот момент барон Слогдод поднял голову, проследил, как гость пьет, и лицо его оскалилось волчьей улыбкой.

В течение целых десяти минут в комнате царил мертвая тишина, а потом барон сложил письмо и поднял голову: их глаза встретились; синьору множество раз приходилось сталкиваться с диким тигром на узкой тропе и выходить победителем, но сейчас он невольно отвел взгляд. Затем барон заговорил спокойным и сдержанным голосом:

— Я полагаю, вам известно содержание сего письма? — (Синьор кивнул.) — И вы ожидаете ответа?

— Ожидаю.

— Тогда *вот* вам мой ответ! — закричал барон, бросаясь на него, и в следующее мгновение швырнул его в открытое окно. В течение нескольких секунд он задумчиво следил за его падением, а потом, разорвав лежавшее на столе письмо на бесчисленное количество клочков, развеял их по ветру.

Глава вторая

— Раз! два! три! — Чародей поставил бутылку и в изнеможении опустился в кресло. — Девять изнурительных часов, — вздохнул он, вытирая дымящийся лоб, — девять изнурительных часов я трудился над этим и добрался лишь до восьмьсот тридцать второго ингредиента! Ну что ж! Воистину, сдается мне, что Мартин Вагнер прописал в своем рецепте по три капли всего, что существует на свете. Однако осталось добавить лишь сто шестьдесят восемь ингредиентов. Скоро это будет сделано, тогда наступит черед кипячения, и потом...

Разговор с самим собой был прерван тихим, робким стуком снаружи.

— Так стучит Блоуски, — пробормотал старик, медленно отодвигая засовы и замки на двери. — Ума не приложу, что *его-то* сюда принесло в столь поздний час. Он птица, несущая дурной знак: я так не доверяю его хищному лицу. Это вы! Какими судьбами, синьор? — воскликнул он, удивленно отпрянув при виде входящего гостя. — Откуда у вас синяк под глазом? И поистине ваше лицо переливается, словно какая-то радуга! Кто вас оскорбил? Или, скорее, — добавил он себе под нос, — кого вы оскорбили, ибо это вернее всего.

— Не обращайтесь внимания на мое лицо, добрый отче, — поспешно ответил Блоуски, — я всего лишь споткнулся и упал, возвращаясь домой прошлой ночью в темноте, вот и все, уверяю вас. Но я пришел не по второму делу... мне нужен совет... или, скорее, следовало бы сказать, я хотел бы услышать ваше мнение... по другому вопросу... предположим, что один человек должен... предположим, два человека... предположим, что есть два человека, А и Б...

— Предположим, предположим! — презрительно пробормотал чародей.

— ...И предположим, что эти люди, добрый отче, то есть А должен вручить Б письмо, затем, предположим, А читает письмо, то есть Б, и затем Б пытается... я хочу сказать, А пытается... отравить Б... я хочу сказать, А... и затем, предположим, что...

— Сын мой, — перебил его в этом месте старец, — вы излагаете гипотетический случай? Сда-

ется мне, что вы излагаете его в на удивление запутанной манере...

— Ну *разумеется*, это гипотетический случай, — грубо оборвал его Блоуски, — и, если бы вы послушали меня, вместо того чтобы перебивать, сдается мне, вы бы лучше в нем разобрались!

— Продолжай, сын мой, — мягко ответил старец.

— И затем предположим, что А... то есть Б... выбрасывает А из окна... или, скорее, — добавил он в заключение, и сам к этому моменту несколько запутавшись, — или, скорее, мне следовало бы сказать наоборот.

Старец потер бороду и на некоторое время погрузился в размышления.

— Так-так, — наконец вымолвил он, — понимаю, А... Б... то да се... Б отравил А...

— Нет! Нет! — вскричал синьор. — Б *пытается* отравить А, на самом деле ему это не удалось — я поменял местами... я хочу сказать, — поспешно добавил он, покрываясь краской, — вы должны предположить, что на самом деле ему это не удалось.

— Так, — продолжил чародей, — *теперь-то* все ясно: Б... точнее, А... но какое все это имеет отношение к вашему избитому лицу? — неожиданно закончил он.

— С...совершенно ник...какого, — запинаясь, пробормотал Блоуски. — Я же вам уже один раз сказал, что повредил лицо при падении с лошади...

— А! Ну ладно! Давайте-ка поглядим, — тихо произнес его собеседник, — значит, споткнулся в темноте... упал с лошади... гм! гм!.. да, мой мальчик,

вот ты и допрыгался, должен заметить... — и продолжил более громко: — это уже было лучше... но, честно говоря, я еще не знаю, в чем состоит вопрос.

— Ну как в чем? В том, как теперь следует поступить Б, — ответил синьор.

— Но кто такой Б? — поинтересовался чародей. — Б — это что, первая буква фамилии Блоуски?

— Нет, — последовал ответ, — я имел в виду А.

— А-а-а! — протянул чародей. — *Теперь* я понимаю... но поистине мне нужно время, чтобы над этим подумать, поэтому адью, прекрасный сэръ. — И, отворив дверь, он внезапно выпроводил своего гостя на улицу.

— А теперь, — сказал он самому себе, — займемся составом... так, посмотрим... три капли... да, мой мальчик, *вот ты и допрыгался*...

Глава третья

Часы пробили двенадцать и три минуты с четвертью. Лакей барона поспешно схватил огромный кубок и в ужасе заохал, наполняя его горячим, приправленным пряностями вином.

— Я опоздал! — мучительно простонал он, — и теперь наверняка мне придется отведать раскаленной кочерги, которой барон так часто мне грозит. О, горе мне! Ах, если бы я приготовил ужин для барона пораньше! — И, не теряя ни секунды, он схватил рукой окутанный паром кубок и пронесся по высоким коридорам со скоростью беговой ло-

шади. За гораздо меньшее время, чем нам понадобилось, чтобы об этом поведать, он достиг двери в комнату барона, открыл ее и... замер, подавшись всем телом вперед и вытянувшись на носках, не осмеливаясь и шагу ступить и окаменев от чрезвычайного изумления.

— Ну что там, осел? — заревел барон. — Почему ты стоишь, выпучив глаза, как огромная лягушка в апоплексическом припадке? — (Барон замечательно умел подбирать сравнения.) — Что с тобой? Говори! Ты что, онемел?

Несчастный слуга предпринял отчаянную попытку заговорить и наконец выдавил из себя:

— Благородный сэръ!..

— Очень хорошо! Замечательное начало! — одобрил барон более довольным тоном, ибо любил, когда его называли «благородным». — Продолжай! Не ждатель же тебя целый день!

— Благородный сэръ, — заикаясь, пролепетал встревоженный слуга, — а где... где... вообще... ваш гость?

— Ушел! — твердо и непререкаемо ответил барон, произвольно *указывая* большим пальцем себе за спину. — Ушел! Ему нужно было отдавать и другие визиты, поэтому он *снизошел* и отправился их отдавать... а где мое вино? — внезапно заинтересовался он, и слуга с радостью вручил ему кубок и вышел из комнаты.

Барон одним глотком осушил кубок и подошел к окну. Его недавней жертвы нигде не было видно, но барон, задумчиво уставившись на то место, куда упал синьор, пробормотал с безжалостной улыбкой:

— Сдается мне, я вижу вмятину на земле. — В этот момент мимо прошла загадочного вида фигура, и барон, глядя ей вслед, невольно подумал: «Интересно, кто бы это мог быть!» Он долго смотрел в сторону удаляющихся шагов, и в голове его была только одна мысль: «Нет, ну все-таки, интересно, кто бы это мог быть?»

Глава четвертая

Опустилось за горизонт западное солнце, и сумерки уже воровской тенью крались по земле, когда второй раз за день загудела труба, висевшая у ворот замка. И снова уставший слуга поднялся в покои своего господина, но на этот раз он сопровождал совершенно нового посетителя:

— Мистер Мильтон Смит!

Барон поспешно поднялся с кресла, услышав нежеланное имя, и шагнул вперед, чтобы встретить гостя.

— Сердечные поклоны, благородный сэра! — начал прославленный гость напыщенным голосом и потрянул головой. — Мне случилось услышать ваше имя, и я принял твердое решение посетить вас и узреть до наступления ночи!..

— Что ж, прекрасный сэра, надеюсь, вы удовлетворены зрелищем, — перебил его барон, желая прекратить разговор, которого он не понимал и который был ему не по нраву.

— Оно радует меня, — последовал ответ, — более того, настолько, что я мог бы пожелать продлить

удовольствие, ибо присутствует Жизнь и Правда в тех тонах, которые напоминают мне сцены прежних дней...

— В самом деле? — осведомился барон, в значительной степени озадаченный.

— Воистину, — отозвался его собеседник. — И сейчас мне вспоминается, — продолжил он, подходя к окну, — что я также желал посмотреть на окрестности; они прекрасны, не правда ли?

— Очень прекрасные окрестности, — подтвердил барон, добавив про себя: «А я бы желал, чтобы ты находился отсюда подалее!»

Гость несколько минут стоял, задумчиво глядя в окно, после чего произнес, неожиданно повернувшись к барону:

— Вам, должно быть, известно, прекрасный сэр, что я поэт!

— Да что вы? — воскликнул тот. — Умоляю вас, скажите, что же нам теперь делать?

Мистер Мильтон Смит не ответил, но продолжил свои наблюдения.

— Видите, мой гостеприимный хозяин, тот торжественный ореол, что окружает ваш безмятежный луг?

— Живую изгородь, вы имеете в виду? — довольно презрительно заметил барон, подходя к окну.

— Мой ум осязает в сей картине некую границу... и стремление... к... тому, что есть Истина и Красота в Природе, и... и... разве вы не замечаете роскошной безыскусности — я хочу сказать, величественности, от которой прямо чем-то веет... и как бы

перемешивается с растительностью — этой, как ее... травой?

— Перемешивается с травой? А! вы имеете в виду лютики? — сказал барон. — Да, они создают весьма приятный эффект.

— Простите меня, — промолвил мистер Милтон Смит, — я имел в виду не это, а... Впрочем, пожалуй, мне лучше воспеть это в стихах!

Прелестный луг, дар золотых провинций,
Сияет под лазурным небом,
Где средь фиалок отдыхают...

— «Проходимцы», — подсказал барон.

— Проходимцы?! — повторил поэт, уставившись на него в изумлении.

— Да, проходимцы, бродяги, понимаете ли, цыгане, — холодно пояснил хозяин, — они очень часто спят там, на лугу.

Жрец вдохновения пожал плечами и продолжил:

— «Где средь фиалок отдыхают жницы».

— Жницы и вполонину так хорошо не рифмуются, как проходимцы, — возразил барон.

— Тут уж я ничего не могу поделать, — последовал ответ. — «И тихо шепчут...»

— «Дайте хлеба!» — сказал барон, завершая вместо него строку. — Итак, одна строфа закончена, и теперь я должен пожелать вам спокойной ночи; добро пожаловать в кровать, так что, когда закончите воспевать окрестности, позвоните в колокольчик и слуга покажет вам, где лечь.

— Спасибо, — ответил поэт, и барон вышел из комнаты.

— ...И тихо шепчут: «Он волшебен»... О! *Получилось*, — продолжил поэт, когда дверь закрылась, после чего, высунувшись из окна, тихо свистнул. Из кустов немедленно появилась загадочная фигура в плаще и произнесла шепотом:

— Получилось?

— *Получилось*, — ответил поэт. — Я отослал старикана в постель, уморив его образчиком твоей поэзии, и, кстати, я чуть было не забыл тот стишок, которому ты меня научил, и едва не угодил в *такой* переплет! Как бы там ни было, теперь берег чист, так что гляди в оба. — Фигура достала из-под плаща веревочную лестницу, которую поэт принялся тащить вверх.

Глава пятая

ЧИТАТЕЛЬ! Осмелишься ли ты еще раз войти в пещеру великого Чародея? Если сердце твое не преисполнено отваги, воздержись: не читай дальше. Высоко в воздухе висели силуэты двух черных кошек; между ними была сова, сидящая на омерзительной гадюке, которая парила в полумраке сама по себе.

Пауки ползали по длинным седым волосам великого астролога, когда он писал золотыми буквами ужасное заклинание на волшебном свитке, свисавшем изо рта смертельно ядовитой гадюки. Странная фигура, похожая на оживленную карто-

фелину с руками и ногами, зависла над волшебным свитком и, похоже, читала слова вверх тормашками. Чу!

Пронзительный крик прокатился по пещере от стены к стене, пока не затих в ее каменных сводах. Ужас! И все-таки сердце Чародея не дрогнуло, только мизинец слегка дернулся три раза, и один из его седых волосков поднялся из копны волос, выпрямившись от страха; еще один последовал бы его примеру, но на нем висел паук, и волосок остался на месте.

Вспышка таинственного света, черного, как самое черное-черное дерево, теперь заполнила всю пещеру, и в его мгновенном проблеске видно было, как сова моргнула один раз. Мрачное знамение! Не зашипела ли поддерживающая ее змея? О нет! Это было бы *слишком* ужасно! В глубокой мертвой тишине, которая последовала за этим волнующим событием, был отчетливо различим одинокий чих, который издала левая кошка. Отчетливо. Теперь Чародей и *впрямь* задрожал.

— Мрачные духи бездонной бездны! — пробормотал он таким запинаящимся голосом, словно его старческие конечности вот-вот ему откажут. — Я не звал тебя: почему же ты явилась?

И картофелина ответила ему глухим голосом:

— Ты звал! — И наступила тишина.

Чародей в ужасе отшатнулся. Что?! Чтобы тебе бросила вызов какая-то картошка?! Ни за что! Он в тоске ударил кулаком в немогущую грудь и затем, собравшись с силами, закричал:

— Попробуй вымолвить еще хоть слово, и я тебя сразу же сварю! — Наступила зловещая пауза, длинная, неясная и загадочная. Что же будет? Картофелина громко всхлипнула, и было слышно, как ее крупные, льющиеся струями слезы тяжело хлюпают о каменистый пол. Затем медленно, отчетливо и жутко прозвучали ужасные слова: «Гобно стродгол елок слаболго!» — и затем низкий шипящий шепот: «Пора!»

— Загадка! Страшная загадка! — простонал охваченный ужасом астролог. — Русский боевой клич! О Слогдог! Слогдог! Что же ты наделал? — Он стоял, замерев в ожидании, трепеща; но его ухо не улавливало ни звука; ничего, кроме беспрестанной капли далекого водопада. Наконец какой-то голос произнес: «Сейчас», и сразу же правая кошка с тяжелым глухим звуком свалилась на землю. Потом появился Ужасный Силуэт, неясно маячивший в темноте: он приготовился заговорить, но всеобщий крик «штопоры!» эхом пронесся по пещере, три голоса одновременно закричали «да!», и воссиял свет. Слепящий свет, такой сильный, что Чародей, содрогнувшись, закрыл глаза и сказал:

— Это сон, о, значит, я могу в любой момент проснуться! — Он поднял голову, и пещера, Силуэт, кошки — все исчезло: перед ним не осталось ничего, кроме волшебного свитка и пера, палочки красного сургуча и зажженной восковой свечи.

— Августейшая картофелина! — пробормотал он. — Я повинуюсь твоему могущественному голосу. — Затем, запечатывая сургучом таинственный свиток, он позвал посыльного и наказал ему: — По-

спеши, если тебе дорога жизнь, гонец! Поспеши! поспеши! если дорога жизнь, гонец! поспеши! — были последние слова, эхо которых испуганный посыльный слышал в своих ушах, пуская коня во весь опор.

После чего, испустив тяжелый вздох, великий Чародей вернулся в мрачную пещеру, глухо бормоча:

— А теперь займемся жабой!

Глава шестая

— Ш-ш-ш! Тихо! Барон почивает! — Двое, шаркая ногами, пытаются сдвинуть с места железный ящик. Он очень тяжел, и у них дрожат колени, частично из-за тяжести, отчасти от страха. Барон храпит, и они оба вздрагивают; ящик грохает об пол, нельзя терять ни секунды, они поспешно покидают комнату. Трудно, очень трудно было вытащить ящик из окна, но в конце концов это им удалось, хотя при этом им не удалось избежать шума, которого хватило бы, чтобы разбудить десять обычных спящих людей; к счастью для них, барон был *необычным* спящим.

На безопасном расстоянии от замка они поставили ящик и начали взламывать крышку. Четыре изнурительных часа мистер Мильтон Смит и его таинственный спутник в поте лица трудились над ящиком; на восходе солнца крышка наконец подалась и слетела, произведя грохот, который был хуже взрыва пятидесяти пороховых погребов и был

слышен на многие мили окрест. От этого звука барон соскочил со своего ложа и чрезвычайно взбешенно зазвонил в колокольчик; снизу прибежал испуганный слуга, который впоследствии дрожащим голосом поведал своим товарищам, что «Его Честь был явно расстроен и гонялся за ним с чергой в еще более дикой ярости, чем обычно!».

Но вернемся к нашим двум авантюристам: как только они очнулись от обморока, в котором они очутились вследствие взрыва, то немедля приступили к изучению содержимого ящика. Заглянув внутрь, мистер М. Смит глубоко вздохнул и вскричал:

— Ну вот! Чтоб меня!

— Ну вот! Чтоб вас! — сердито повторил второй. — Какой прок продолжать таким образом? Просто скажите, что в ящике, и не стройте из себя осла!..

— Мой дорогой друг! — перебил поэт. — Я клянусь честью...

— Да я и двух пенсов не дал бы за вашу честь! — парировал его приятель, в бешенстве выдирая вокруг себя пригоршни травы. — Дайте мне то, что лежит в ящике, это гораздо ценнее.

— Да, но вы не хотите меня выслушать, а я как раз собирался вам сообщить, что в ящике вообще ничего нет, кроме какой-то трости! И это факт; если вы мне не верите, подойдите и посмотрите сами!

— Не смейте мне это говорить! — закричал его спутник, вскакивая на ноги; все летаргическое оцепенение спало с него в мгновение ока. — Наверняка там не только трость!

— Я же говорю вам, только трость! — довольно угрюмо повторил поэт, вытягиваясь на траве.

Однако второй самолично перевернул ящик и осмотрел его со всех сторон, прежде чем убедился, что в нем больше ничего нет, после чего, небрежно вращая указательным пальцем трость, начал:

— Я полагаю, нет смысла нести барону Магтзвигу *это*? Это было бы совершенно бессмысленно.

— Ну, я не знаю, — с некоторым сомнением отвечал поэт, — может, и не совершенно... он ведь не сказал, что надеялся там най...

— Я это знаю, осел! — нетерпеливо перебил его второй. — Но не думаю, что он надеялся найти трость! Если бы это было так, по-твоему, он дал бы нам по десять долларов каждому, чтобы мы устроили это дело?

— Могу точно сказать, что ответ мне неизвестен, — пробормотал поэт.

— Что ж, тогда поступай, как хочешь! — сердито произнес его спутник и, швырнув в него трость, поспешил прочь.

Никогда еще рыцарь плаща и шляпы не швырялся такой хорошей возможностью заработать целое состояние! В двенадцать часов того же дня барону Магтзвигу сообщили о прибытии гостя, и наш поэт, войдя, отдал ему трость. Глаза барона вспыхнули радостью, и, поспешно вложив большой кошель с золотом в руку *поэта*, он сказал:

— Адью, мой дорогой друг! Вы еще услышите обо мне! — И затем бережно запер трость, бормоча под нос: — Теперь осталась только жаба!..

Глава седьмая

Барон Маггзвиг был толст. Автор этих скромных строк далек от того, чтобы намекать, что его толщина выходила за рамки принятых пропорций или представлений о мужественной красоте, но он явно был толст, и относительно сего факта нет и тени сомнения. Возможно, именно благодаря сей толщине тела в благородном бароне временами замечалась также некоторая толстость и тупость интеллекта. В своем обычном разговоре он был, мягко говоря, туманен и неясен, но после обеда или когда барон был совсем возбужден, его речь явно отличалась сильной несвязностью. Возможно, причиной этому было обильное использование вводных предложений без четкой паузы, которая отмечала бы различные клаузы предложения. Он, как правило, считал свои аргументы неопровержимыми, и они настолько озадачивали его слушателей и ввергали в такое состояние растерянности и изумления, что редкие из них решались хотя бы попытаться на них возразить.

Однако обычно через некоторое время после начала беседы он восполнял то, чего речам не хватало с точки зрения ясности, и именно по этой причине его гостям в то утро, о котором мы говорим, пришлось три раза протрубить в трубу у ворот, прежде чем их впустили, поскольку в тот момент его слуга прослушивал лекцию своего хозяина, предположительно имевшую отношение к вчерашнему ужину, но, благодаря легким чужеродным вкраплениям, оставившую в рассудке слуги смешанное впечат-

ление. Ему показалось, что хозяин отчасти бранил его за то, что тот не следил более строго за торговлей рыбой, отчасти излагал свои собственные личные воззрения на спекуляцию железнодорожными акциями и отчасти жаловался на плохую организацию финансового дела на Луне.

Если учесть таковое настроение ума, неудивительно, что первым ответом слуги на вопрос: «А дома ли барон?» — оказалось: «За рыбу, сэръ, отвечает повар, я к ней не имел никакого отношения», какое утверждение по кратком размышлении он сразу же исправил на: «Поезд опоздал, поэтому вино никак нельзя было подать быстрее».

— Этот тип явно сошел с ума или пьян! — рассерженно воскликнул один из незнакомцев — не кто иной, как таинственный человек в плаще.

— Это не так, — ответил тихий голос, и великий Чародей выступил вперед. — Однако позвольте мне расспросить его... Эй! приятель! — продолжал он уже погромче. — А дома ли твой хозяин?

Слуга какое-то мгновение смотрел на него, словно во сне, а потом вдруг, придя в себя, ответил:

— Прошу извинения, жентельмены, барон *дома*; не будете ли любезны войти? — и с этими словами повел их вверх по лестнице.

Войдя в комнату, они низко поклонились, и барон, вскакивая с кресла, воскликнул с необычной поспешностью:

— И даже если вы явились сюда по поручению Слогдога, этого сумасшедшего негодяя, а я уверен, что частенько говаривал ему...

— Мы явились, — прервал его Чародей, — чтобы удостовериться...

— Да, — продолжал возбужденный барон, — множество раз, да, множество раз я говаривал ему, и вы можете верить мне или не верить, как вам угодно, ибо хотя...

— Чтобы удостовериться, — настаивал Чародей, — имеете ли вы у себя, и если имеете...

— И тем не менее, — перебил Маггзвиг, — он всегда это делал, и как он, бывало, говорил, если...

— И если имеете, — заорал человек в плаще, отчаявшись в том, что Чародею удастся договорить до конца фразу, — то узнать, каковы ваши пожелания в отношении синьора Блоуски!

Сказав это, они отступили на несколько шагов и стали ожидать ответа барона, а хозяин без дальнейших промедлений произнес следующий замечательный спич:

— И хотя у меня нет желания провоцировать враждебность, которую, учитывая те провокации, которые я получил, и в самом деле, если вы их взвесите, они больше, чем любой смертный, а тем более барон, ибо давным-давно известно, что наш фамильный нрав превосходит даже тот, чем вряд ли могла бы похвастаться даже сама королевская семья, принимая во внимание также, что он такое долгое время держал, чего я бы и не узнал, если бы этот мошенник Блоуски не сказал, и как он мог заставить себя распространять все те лживые измышления, я представить себе не могу, ибо я всегда считал его вполне честным, и, разумеется, желая, если это возможно, доказать его невиновность и полу-

чить трость, поскольку это совершенно необходимо в таких делах, и, прося у вас извинения, я считаю жабу и всю эту чушь полным надувательством, но это между нами, и даже когда я послал за ней двух своих бандитов и один из них принес ее мне вчера, за что я дал ему кошель с золотом, и, я надеюсь, он был благодарен за это, и, хотя пользование услугами бандитов во все времена и особенно в данном случае, если вы сами подумаете, но даже несмотря на кое-какие любезности, которые он мне оказал, хотя я сказал бы, в этом что-то было, и, между прочим, возможно, именно по этой причине он выбросился, я хочу сказать, выбросил себя из окна, ибо... — Тут он запнулся, видя, что его гости в отчаянии покинули комнату. Теперь же, Читатель, приготовься к последней главе.

Глава восьмая, и последняя

Стояла полная тишина. Барон Слогдог сидел в зале своих предков, на своем баронском троне, но на его челе не было обычного выражения спокойной удовлетворенности: в нем чувствовалось неуютное беспокойство, которое указывало, что его разум встревожен, но почему же? Тесно набившись, в зале вокруг, настолько плотно втиснутые вместе, что напоминали один огромный океан без пробела или пустоты, сидели семь тысяч человеческих существ: все глаза были устремлены на барона, каждый вздох был затаен в жадном ожидании, и он чувствовал, он ощущал в самой глубине своего сердца,

хотя и тщетно пытался скрыть свою обеспокоенность под натянутой и неестественной улыбкой, что вот-вот должно произойти нечто ужасное. Читатель! Если твои нервы не крепки как сталь, не преворачивай эту страницу вовсе!

Перед креслом барона стоял стол: что же находилось на нем? Это хорошо знали трепещущие толпы, когда, бледные и трясущиеся от страха, они смотрели на нее и отшатывались от нее, даже когда смотрели: безобразная, кривобокая, отвратительная и ужасная, сидела она, с большими тусклыми глазами и раздутыми щеками, — волшебная жаба!

Все боялись ее и испытывали к ней отвращение, кроме одного барона, который, время от времени стряхивая с себя свои мрачные размышления, поднимал ногу и угощал ее игривым пинком, на который она не обращала ни малейшего внимания. Он не боялся ее, нет, более глубокие ужасы владели его разумом и затуманивали его чело тревожными мыслями.

Под столом скрючилась дрожащая масса, настолько жалкая и пресмыкающаяся, что едва ли сохраняла форму, свойственную человеческому существу: никто не обращал на нее внимания и никто не испытывал к ней жалости.

И тогда заговорил Чародей:

— Человек, которого я обвиняю, если он и в самом деле человек, — это... Блоуски!

При этом слове съежившаяся фигура поднялась и открыла охваченному ужасом собранию хорошо известное хищное лицо: он открыл рот, собираясь заговорить, но ни звука не исторглось из его блед-

ного и трясущегося рта... торжественная тишина воцарилась вокруг... Чародей поднял трость судьбы и вибрирующим голосом произнес роковые слова:

— Трусливый мерзавец! заблудший нечестивец! получи то, чего заслуживаешь!..

Блоуски молча осел на землю... груды картофельного пюре... шаровидная форма, тускло вырисовывшаяся в темноте... Он коротко взвыл, затем все замерло. Читатель, наш рассказ окончен.

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШМИЦ

Глава первая

«И так было все время».

Старая пьеса

Душный яркий свет полудня уже уступал место прохладе безоблачного вечера, и убаюканный океан с тихим рокотом омывал причал, навевая поэтическим умам мысли о движении и омовении, когда сторонний наблюдатель мог заметить двух путников, приближавшихся к уединенному городку Уитби по одной из тех крутых тропинок, удостоенных названия «дорога», которые вели в этот населенный пункт и которые, вероятно, прокладывали, взяв за модель сточную трубу, уходящую в бочку для дождевой воды. Старший из двоих был желтолицый, измученный заботами мужчина; черты его лица были украшены тем, что часто на расстоянии можно ошибочно принять за усы, и затенены бобровой шапкой сомнительного возраста и того вида, который если и не назовешь респектабельным, то, по крайней мере, почтенным. Более молодой, в котором пронизательный читатель уже узнал героя моего рассказа, обладал фигурой, которую, однажды увидев, вряд ли забудешь: легкая склонность к тучности казалась лишь пустяковым недостатком на фоне мужественной плавности ее

очертаний, хотя строгие каноны красоты, возможно, требовали бы несколько более длинной пары ног, дабы сохранить пропорции его силуэта, и несколько большей симметричности глаз, чем дала ему природа. Тем не менее для тех критиков, которые не связаны ограничениями законов хорошего вкуса, — а таковых множество, — для тех, кто мог бы закрыть глаза на дефекты его фигуры и выделить ее красоты, — хотя и мало нашлось тех, кто был способен выполнить эту задачу, — для тех, кто знал и ценил его личные качества и верил, что сила его ума превосходила силу ума его современников, — хотя, увы! таковых до сих пор не нашлось, — для тех он был Аполлоном.

Впрочем, разве мы погрешили бы против истины, если бы сказали, что его волосы слишком уж лоснились, а руки слишком редко прикасались к мылу? Что его нос был слишком задран вверх, а воротничок рубашки слишком завернут вниз? Что на его усах алел весь румянец с его щек, за исключением маленького кусочка, который осыпался на жилет? Такая тривиальная критика была недостойна внимания любого, кто претендовал на высокое звание знатока.

При крещении сей юноша получил имя Уильям, а фамилия его отца была Смит, но, хотя он представлялся во многих высших кругах в Лондоне импозантным именем «мистер Смит из Йоркшира», к несчастью, ему не удалось привлечь ту долю общественного внимания, какой он, по его мнению, заслуживал. Некоторые спрашивали его, насколько длинна его родословная; у других хватало низо-

сти намекать, что его положение в обществе было не вполне уникальным; в то время как саркастические вопросы третьих касались потенциального наличия аристократических корней, на которые, предположительно, он собирался заявить права. Все это пробудило в груди молодого человека, исполненного духом благородства, стремление к обретению такого высокого рождения и связей, в которых отказала ему злобная Фортуна.

Посему у него возникла эта фантазия, которую, возможно, в данном случае следует рассматривать просто как поэтическую вольность, представляться звучным именем, стоящим в заглавии этой истории. Этот шаг способствовал большому росту его популярности, причем сие обстоятельство его знакомые совершенно прозаично сравнивали с фальшивым совереном в новой позолоте. Сам же он предпочитал более приятное описание: «...фиалка бледная, что наконец открыта в долине, мхом поросшей, и рождена, чтоб за одним столом сидеть с монархами»; хотя, согласно общим представлениям, фиалки обычно для этого не очень приспособлены по своей конституции.

Путешественники, каждый из которых был погружен в собственные мысли, шагали вниз по склону в полной тишине, за исключением моментов, когда необычно острый камень или неожиданная рытвина на дороге вызывали один из тех произвольных вскриков боли, которые столь триумфально демонстрируют связь между Сознанием и Материей. Наконец молодой путешественник, с трудом очнувшись от своих болезненных мечтаний, пре-

рвал размышления своего спутника внезапным вопросом:

— Как думаешь, она сильно изменится? Я полагаю, что нет.

— Думаю — кто? — язвительно ответил второй, затем поспешно поправился и, как человек, обладающий тонким чувством грамматики, выразился более корректно: — Кто эта «она», о которой ты говоришь?

— Так, значит, ты забыл, — спросил молодой человек, который был в душе настолько большим поэтом, что никогда не говорил обычной прозой, — ты забыл о том предмете, о котором мы только что беседовали? Поверь мне, она поселилась в моих душах с тех самых пор.

— Только что! — отозвался саркастическим тоном его приятель. — Да прошел добрый час с тех пор, как ты открывал рот последний раз.

Молодой человек согласно кивнул.

— Час? Верно, верно. Мы проходили Лит, как мне сдается, и тихо на ухо тебе я бормотал тот трогательный сонет к морю, который написал я так недавно, начинавшийся: «Твои ревушие, храпящие, вздымающиеся, скорбящие просторы, что...»

— Имей же милосердие! — прервал его второй, и в его умоляющем голосе прозвучала неподдельная искренность. — Только не начинай снова! Я это уже один раз выслушал с величайшим терпением.

— Ты выслушал, выслушал, — расстроено подтвердил Поэт. — Что ж, тогда она снова станет темой моих мыслей. — Тут он нахмурился и закусил губу, бормоча себе под нос такие слова, как «муки»,

«руки» и «брюки», словно пытаюсь подобрать рифму к какому-то слову. Теперь пара проходила около моста, и слева от них стояли лавки, а справа была вода; а снизу доносился неразборчивый гул голосов, и дующий со стороны моря бриз приносил аромат из вздымающихся в бухте вод, неясно намекающий на соленую сельдь и другие всевозможные вещи, а легкий дымок, который изящной струйкой вился над крышами домов, вызывал в голове одаренного юноши лишь поэтические мысли.

Глава вторая

«Возьмем меня, к примеру».

Старая пьеса

— Но раз уж мы о ней заговорили, — продолжил беседу человек прозы, — как ее зовут? Ты ведь мне этого еще не говорил:

Легкий румянец пробежал по не лишенным привлекательности чертам юноши; неужели ее имя было непоэтично и не соответствовало его представлениям о природной гармонии? Он заговорил неохотно и неразборчиво.

— Ее зовут, — слабо выдохнул он, — Сьюки.

Единственным ответом был протяжный тихий свист; путешественник постарше отвернулся, засунув руки поглубже в карманы, а несчастный юноша, чьи нежные нервы были жестоко потрясены насмешкой его приятеля, ухватился за ближайшие перила, чтобы придать устойчивости подкосившимся ногам. В этот момент до их ушей донеслись зву-

ки далекой мелодии, и, в то время как его бесчувственный товарищ двинулся в том направлении, откуда звучала музыка, расстроенный поэт поспешил к Мосту, чтобы незаметно для других прохожих дать выход своим еле сдерживаемым чувствам.

Солнце уже садилось, когда он добрался до этого места, и, когда он вошел на Мост, безмятежная гладь воды успокоила его возмущенный дух, и, печально облокотившись на перила, он предался размышлениям. Какие видения наполнили эту благородную душу, когда с лицом, которое лучилось бы умом, если бы у него вообще было хоть какое-то выражение, и с хмурым взглядом, которому недоставало лишь достоинства, чтобы выглядеть ужасным, он уставился в ленивый прибой этими прекрасными, хотя и слегка покрасневшими глазами?

Видения его детских дней; сцены из счастливой поры детских фартучков, патоки и невинности; над длинной вереницей прошлых лет проплывали призраки давно забытых сборников упражнений по правописанию, грифельные доски, густо испещренные скучными вычислениями, которые вообще редко когда получались... в костяшках его пальцев и корнях волос снова возникли щекочущие и несколько болезненные ощущения, и он опять превратился в маленького мальчика.

— Эй, молодой человек! — раздался чей-то голос. — Можете идти в любую сторону, какая вам по нраву, но на середине останавливаться нельзя! — Слова лениво влетели в его уши и послужили лишь для того, чтобы подсказать ему новое направление

мечтаний; «Идти, да, идти», — тихо прошептал он, а затем произнес уже погромче, потому что в голову ему вдруг пришла неожиданная идея:

— Да, а чем я не колосс Родосский? — Он выпрямился во весь свой мужественный рост и снова двинулся вперед большими, более твердыми шагами.

...Было ли это всего лишь иллюзией его воспаленного мозга или суровой реальностью? Медленно, медленно разверзлся мост под его ногами, и теперь его шаг уже становился все менее твердым и исчезало достоинство осанки; ему все равно: будь что будет — разве он не колосс?

...Поступь колосса, возможно, соответствовала силе душевного порыва; однако энергия напыщенных речей имеет свои границы; именно в этой критической точке «натуры сила бессильной оказалась» и посему покинула его, в то время как вместо нее начала действовать сила тяжести.

Иными словами, он упал.

А «Хильда» медленно продолжила свой путь, и капитан не ведал, что, проходя под разводным Мостом, его судно послужило причиной падения поэта, и не догадывался, кому принадлежали эти две ноги, что, спазматически дрыгаясь, исчезли в кружащемся водовороте... Матросы втянули на борт мокрое до нитки, задыхающееся тело, которое скорее напоминало утонувшую крысу, чем Поэта; и заговорили с ним без должного благоговения, и даже назвали «молодым парнем», присовокупив что-то насчет «желторотого», и засмеялись; что они понимали в Поэзии?

Обратимся же к другим сценам: длинная комната с низким потолком и скамьями с высокими спинками и посыпанный песком пол; группа людей, которые пьют и обмениваются сплетнями; везде табачный дым, могучее доказательство того, что духи где-то существуют; и она, прекрасная Сьюки собственной персоной, беззаботно скользящая среди декораций, держа в своих лилейных ручках — что? Вне сомнения, какой-нибудь венок, сплетенный из самых ароматных цветов на свете? Какой-нибудь дорогой ее сердцу томик в сафьяновом переплете и с золотыми застежками, бессмертное произведение барда былых времен, над страницами которого она так часто любит поразмышлять? Возможно, «Поэмы Уильяма Смита», этого идола ее нежных чувств, в двух томах *in quarto*¹, опубликованные за несколько лет до описываемых событий, лишь один экземпляр которых был до сих пор куплен, да и то им самим, — чтобы подарить его Сьюки. Что же — венок или томик — с такой нежной заботой несет прекрасная дева? Увы, ничего: это всего лишь две кружки портера, которые только что заказали завсегдатаи пивной.

Рядом, в маленькой гостиной, никем не замечаемый, никем не обслуживаемый, хотя его Сьюки была так близко, мокрый, взъерошенный и в дурном настроении, сидел юноша: по его просьбе в камине разожгли огонь, и перед ним он теперь сушился, но, поскольку «веселый очаг, счастливый вестник зимних дней», если воспользоваться его собствен-

¹ В $1/4$ долю листа (*лат.*).

ным ярким описанием, состоял в настоящий момент из хиленького потрескивающего пучка хвоста, чей единственный эффект состоял в том, что он едва не удушил юношу своим дымом, его можно простить за то, что он не ощущал с несколько большей остротой тот «огонь Души, когда, глазами глядя на разгорающийся уголь, бритт чувствует, назло врагу: его родной очаг принадлежит ему!» — здесь мы снова используем его собственные волнующие слова на эту тему.

Официант, не догадываясь, что перед ним сидит Поэт, о чем-то ему доверительно рассказывал; он распространялся на различные темы, и все равно юноша слушал его без особого внимания, однако когда наконец тот заговорил о Сьюки, тусклые глаза вспыхнули огнем и устремили на говорившего дикий взор, в котором читались презрение и вызов и который, к сожалению, пропал даром, поскольку его объект в этот момент помешивал дрова и ничего не заметил.

— Скажи, о повтори эти слова еще раз! — задыхаясь, произнес Поэт. — Должно быть, я неправильно расслышал!

Официант удивленно взглянул на него, но любезно повторил свое замечание:

— Я всего лишь говорил, сэ, что она необычайно умная девушка, с большой сноровкой, и поскольку я надеюсь в один прекрасный день ею овладеть, то, если этому суждено стать... — Больше он не сказал ничего, ибо Поэт, издав мучительный стон, в смятении выбежал из комнаты.

Глава третья

«Нет, это уж слишком!»

Старая пьеса

Ночь, непроглядная ночь.

В данном случае непроглядность ночи была представлена гораздо более внушительно, чем представляется жителям обычных городов, благодаря освященному веками обычаю, соблюдаемому обитателями Уитби и заключающемуся в том, что они оставляли свои улицы совершенно неосвещенными: бросая таким образом вызов прискорбно быстрому наступлению волны прогресса и цивилизации, они выказывали немалую долю нравственного мужества и независимого суждения. Людям ли разумным принимать на вооружение каждое новомодное изобретение своего века только лишь на том основании, что так поступили их соседи? Можно было бы попробовать пристыдить их, заявив, что тем самым они только сами себе вредят, и таковое замечание было бы неопровержимой истиной; но оно бы привело лишь к тому, что подняло в глазах восхищенной нации их заслуженную репутацию людей, отличающихся героическим самопожертвованием и бескомпромиссностью.

Не разбирая дороги, страдающий от безнадежной любви Поэт отчаянно ринулся в ночь; иногда он летел вверх тормашками, зацепившись о дверной порог, иногда проваливался по пояс в канаву, но продолжал идти вперед, вперед, не обращая внимания на направление.

В самом темном месте одной из этих угрюмых улиц (единственная ближайшая витрина магази-

на, в которой горел свет, находилась примерно в пятидесяти ярдах) случай свел его с тем самым человеком, от которого он бежал, с человеком, которого он ненавидел как удачливого соперника и который довел его до сего приступа безумия. Официант, не зная, в чем дело, последовал за юношей, дабы удостовериться, что с ним не приключилось вреда, и чтобы привести его назад, при этом даже не представляя, какое потрясение его ожидает.

Как только Поэт уяснил, кто перед ним, вся накопившаяся в нем злость вырвалась наружу: он бросился на официанта, схватил обеими руками за горло, швырнул на землю и там довел его до крайней степени удушения — и все это проделал в один присест.

— Предатель! Разбойник! Мятежник! Цареубийца! — прошипел он сквозь стиснутые зубы, прибегнув к первым попавшимся оскорбительным эпитетам, которые пришли ему в голову, при этом не задумываясь об их уместности. — Это ты? Теперь же ощути мой гнев! — И нет сомнений, что официант действительно испытал это необычное ощущение, каково бы оно ни было, ибо яростно боролся со своим противником и даже, как только снова обрел способность дышать, заорал: «Убивают!»

— Не говори так, — сурово заметил Поэт, отпустив его, — это ты меня убиваешь.

Официант поднялся и заговорил в величайшем изумлении:

— Но почему, я ведь никогда...

— Это ложь! — возопил Поэт. — Она тебя не любит! Меня, меня лишь одного!

— А кто вообще говорил, что любит? — спросил второй, начиная понимать, в чем суть дела.

— Ты! Ты молвил это, — последовал возбужденный ответ. — Что, разбойник? Овладеть ею? Сего тебе не суждено вовек!

Официант спокойно пояснил:

— Я сказал, сэр, что у нее удивительная сноровка, и я надеюсь этой сноровкой овладеть, научиться так же быстро и умело, как она, прислуживать за столом, а она это делает поразительно хорошо, тут сомнений нет: я думал, что, овладев такой сноровкой, я мог бы претендовать на должность главного официанта в гостинице.

Гнев Поэта мгновенно утих, собственно говоря, он даже выглядел теперь скорее удрученным, чем наоборот.

— Прости совершенное мною насилие, — мягко произнес он, — и давай выпьем как други.

— Согласен, — великодушно ответил официант, — но, клянусь всеми святыми, вы превратили мое пальто в тряпку!

— Мужайся! — весело воскликнул наш герой. — Вскоре у тебя будет новое одеяние: да, и из самого лучшего кашемира.

— Хм, — неуверенно отозвался второй, — а никакой другой матерьял не...

— Я не буду покупать тебе пальто ни из какого другого материала, — вежливо, но решительно отрезал Поэт, и официант сдался.

Снова прибыв в уютную таверну, Поэт с воодушевлением заказал чашу с пуншем и, когда ее при-

несли, предложил своему новому другу произнести тост.

— Я скажу, — начал официант, который был склонен к сентиментальности, хотя по нему это вряд ли можно было бы сказать, — я скажу: Женщина! Она удваивает наши печали и уменьшает вполтину наши радости.

Поэт осушил чашу, не удосужившись исправить ошибку, допущенную сотоварищем, и в течение всего вечера время от времени высказывалось то же вдохновляющее мнение. И так проходила ночь, и была заказана еще одна чаша с пуншем, и еще одна.

* * *

— А теперь позвольте мне, — сказал официант, пытаюсь примерно в десятый раз подняться на ноги и произнести речь и потерпев в этом еще более явную неудачу, чем ранее, — поднять тост за это счастливое событие. Женщина! Она уменьшает... — Но в этот момент, вероятно, в качестве иллюстрации к своей излюбленной теории, он и сам «уменьшился», согнувшись пополам, причем столь успешно, что в мгновение ока исчез под столом.

Можно предположить, что официант настолько пал, что ударился в лекцию на тему человеческих злосчастий в целом и способов избавления от них в частности, ибо из его убежища доносился торжественный глас, с чувством, хотя и довольно неразборчиво, возвещавший, что «когда тревога в сердце поселилась...» — здесь наступила пауза, словно он пожелал оставить вопрос открытым для обсуждения, однако, поскольку никто из присутствующих

не был достаточно компетентен, чтобы предложить способ выхода из таковой прискорбной ситуации, он попытался восполнить досадный пробел самостоятельно, сообщив, что «она была точь-в-точь, как мне приснилась».

Тем временем Поэт сидел, тихо улыбаясь самому себе, и попивал пунш: единственное, чем он отметил внезапное исчезновение своего товарища, состояло в том, что он плеснул себе новую порцию пунша и сердечным голосом произнес: «Ваше здорье!» — кивая в том направлении, где должен был находиться официант. Затем он ободряюще воскликнул: «Слушайте! Слушайте!» — и предпринял попытку стукнуть по столу кулаком, но промахнулся. Судя по всему, его заинтересовал вопрос касательно сердца, в котором поселилась тревога, и он с пониманием подмигнул два или три раза, словно у него было что сказать на эту тему, если бы он захотел; однако вторая цитата пробудила в нем желание произнести речь, и он сразу же вторгся в подземный монолог официанта с восторженным отрывком из стихотворения, которое только что сочинил:

Что из того, что в Жизни есть и горести, и муки?
Из всех прекраснейших цветов, что Жизнь дает
нам в руки,
Я получил целый букет, когда я выбрал Сьюки!

Скажи, неужто ты могла б не оценить таланта
И выйти замуж за официанта?
И Шмица променять на прощельгу-франта?

Нет! Официант тщеславный был немил ей.
Она, одна, в венке из гордых лилий,
Песнь пела о желанном Вилли.

Пока официант, ум потеряв, блаженно
Мнил, что сорван им цветок сей совершенный,
Явился он, твой Вилли драгоценный.

Теперь в душе твоей звучат иные звуки,
Ибо — барон ли Шмиц иль сын прислуги, —
Он свет в окне для верной Сьюки!

Он помолчал в ожидании ответа, но единственным откликом был громкий храп, доносившийся из-под стола.

Глава четвертая

«Неужели это конец?»

«Николас Никльби»

Под лучами вновь взошедшего Солнца сердитые волны вздымаются и бьются об Утес, мимо которого Поэт задумчиво держит путь. Возможно, читателя удивит, что он еще не побеседовал со своей возлюбленной Сьюки; читатель может спросить, в чем же тут причина, — его вопрос будет тщетен: единственная обязанность историка — с неуклонной точностью фиксировать развитие событий; если бы он вышел за эти рамки и попытался углубиться в скрытые причины вещей, всякие там «почему» и «отчего», он бы вторгнулся в вотчину ученого-метафизика.

В этот же момент Поэт достиг небольшого поднимающегося вверх участка в конце каменной тропинки, где нашел удобное для сидения место, с которого открывался вид на океан.

Он устало опустился на камень и некоторое время сидел, мечтательно вперив взор в бескрайние просторы океана; затем, очнувшись от неожиданной мысли, открыл записную книжку и приступил к правке и завершению своего стихотворения. Он медленно бормотал слова «полон — поклон — волн», нетерпеливо постукивая ногой о землю. «Ага, это подойдет, — произнес наконец юноша со вздохом облегчения, — *волн*»:

Его корабль исчез в морской пучине,
В подводном вихре пенных волн —
На дне глубоко покоится он ныне,
Попав навечно в водяной полон.

«Вторая строка весьма недурна, — восторженно продолжал он, — и, кроме того, построена на кольриджевском принципе аллитерации — П. В., П. В. — „В подводном вихре пенных волн“».

— Поосторожнее! — рявкнул чей-то голос прямо ему в ухо. — То, что ты скажешь, будет использовано против тебя в качестве вещественного доказательства, — и не вздумай сопротивляться, теперь уж никуда не денешься. — Последнее замечание было вызвано отчаянным сопротивлением Поэта, по понятным причинам возмущенного тем, что его неожиданно схватили сзади двое неизвестных.

— Он сам признался, констебль! Вы ведь слышали? — сказал первый (который носил славное имя Маггл и которого почти излишне представлять читателю как путешественника из главы первой!). — Наговорил достаточно, чтоб поплатиться за это жизнью!

— Я же тебе велел заткнуться, — тепло отозвался второй, — похоже, жентельмен изливал свои чувства в стихах.

— Что... в чем дело? — ловя ртом воздух, прохрипел в этот момент наш незадачливый герой, который наконец обрел способность дышать. — Вы, Маггл, что вы хотите этим сказать?

— Я хочу этим сказать?! — разбушевался его бывший друг. — Что *ты* хочешь этим сказать, если уж на то пошло? Ты убийца, вот ты кто! Где официант, который был с тобой прошлой ночью? Ну-ка скажи!

— О... официант? — медленно повторил Поэт, все еще ошеломленный внезапностью своего пленения. — А в чем дело, я его у...

— Я так и знал! — вскричал его друг, который тут же бросился на него и, ухватившись за горло, придушил едва родившееся слово в зародыше. — Он его утопил, констебль! Что я вам говорил? И как ты это сделал? — продолжил он, на долю секунды ослабив хватку, дабы получить ответ.

Ответ Поэта, насколько его можно было понять (ибо он был выдан в весьма фрагментарном состоянии, буквально по крупичкам, в перерывах между судорожными глотками воздуха), был следующим:

— Это я виноват... я... вы меня задушите... виноват... я бы... даже сказал... дал промашку... я... угостил его... вы... вы... меня заду... я говорю... я угостил его...

— Дубиной по голове, я полагаю, — заключил второй, который в этом месте перекрыл скудную подачу воздуха, которым он позволял своей жертве наслаждаться до сего момента, — и он свалился

в воду: никаких сомнений. Я слышал, что кто-то свалился с Моста вчера ночью. — И, поворачиваясь к констеблю, добавил: — Несомненно, именно этот несчастный официант. Теперь запомните хорошенько мои слова, констебль! С этого момента я отказываюсь от дружбы с этим человеком: не жалейте его! Не думайте о том, чтобы отпустить его ради *испытываемых мною дружеских* чувств!

В этот момент из уст Поэта исторглись некие конвульсивные звуки, которые по зрелом размышлении могли означать следующее: «проклятый пунш... ударил... ему... в голову... не смог удержаться... на ногах...»

— Несчастный! — сурово прервал его Маггл. — Ты еще можешь шутить на эту тему? Значит, ударил ему в голову? И что потом?

— Это его... сильно... под... косило... — продолжил несчастный Шмиц свой довольно бессвязный монолог, который был оборван нетерпеливым констеблем, после чего вся компания отправилась назад в город.

Однако внезапно на сцене появился неожиданный персонаж, который разразился речью, примечательной скорее своим эмоциональным напором, чем грамматической точностью:

— Я только что об этом услышал — спал под столом — не рассчитал свои силы — выпил больше, чем следовало, — он так же невинен, как я... мертвый — еще чего! я еще живее, чем вы, ничего себе дела.

Эта речь произвела на слушателей различное впечатление: констебль спокойно отпустил плен-

ника, растерянный Маггл пробормотал: «Невозможно! заговор — лжесвидетельство — пусть выясняет суд», в то время как счастливый Поэт бросился в объятия своего спасителя, восклицая срывающимся голосом: «Нет, никогда с этого момента мы не расстанемся! Мы будем жить и любить так искренне!» — изливая чувства, на которые официант откликнулся не столь тепло, как можно было бы ожидать.

Позднее в тот же день Вильгельм и Сьюки сидели и беседовали с официантом и несколькими знакомыми, когда в комнату неожиданно вошел исполненный раскаяния Маггл и, положив на колени Шмицу сложенный лист бумаги, произнес глухим голосом трогательные слова «будьте счастливы!», после чего исчез навсегда.

Прочитав документ, Вильгельм поднялся на ноги: под влиянием момента его сподвигло на нечаянный экспромт:

О Сьюки! Он купил, да, лично Маггл,
Несправедливость исправляя споро,
Лицензию на свободную пивную.
Имеем право продавать теперь
Спиртное, портер, и табак, и эль!

И на этом мы покинем его: кто усомнится в его будущем счастье? Разве Сьюки не с ним? А раз она с ним, он счастлив.

НЕОБЫЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Недавнее удивительное открытие в Фотографии, связанное с ее прикладным использованием в умственной деятельности, превратило искусство написания романов в простейший механический труд. Изобретатель любезно разрешил нам присутствовать во время одного из своих опытов; но, поскольку мир еще не узнал об этом изобретении, мы вольны лишь изложить полученные результаты, скрыв все подробности, касающиеся применяемых химических реактивов и самого процесса.

Изобретатель начал с утверждения о том, что идеи самого слабого интеллекта, после отображения их на соответствующим образом обработанной бумаге, можно экспонировать до любой требуемой степени интенсивности. Выслушав наше пожелание начать с наиболее запущенного случая, он любезно пригласил из соседней комнаты молодого человека, который, судя по его виду, обладал самыми слабыми физическими и умственными способностями. На вопрос о том, что мы о нем думаем, мы откровенно признались, что он, похоже, не способен ни на что, кроме сна; наш друг от всего сердца согласился с этим мнением.

Когда машина была готова к работе, а между разумом пациента и объективом установилась мезмерическая связь, молодого человека спросили, желает ли он что-нибудь сказать; на что он апатично пробормотал: «Ничего». Затем его спросили, о чем он думает, и в ответ, как и ранее, он сказал: «Ни о чем». На этом мастер объявил, что пациент находится в самом удовлетворительном состоянии, и сразу же приступил к опытам.

После того как бумага была проэкспонирована в течение необходимого времени, ее извлекли из аппарата и предоставили нам для осмотра; мы обнаружили, что она покрыта неясными и почти неразборчивыми символами. Более близкое рассмотрение выявило следующее:

«Вечер был нежен и полон невинности; зефир шептал в окруженной скалами долине, и несколько легких капель дождя охладили жаждущую землю. Медленной иноходью вдоль окаймленной примулами тропинки ехал благородного вида симпатичный юноша, державший в изящной руке легкую трость; лошадь грациозно двигалась под ним, вдыхая по пути аромат придорожных цветов; спокойная улыбка и томные глаза, восхитительно гармонировавшие с прекрасными чертами всадника, свидетельствовали о спокойном течении его мыслей. Милым, хотя и слабым голосом он скорбно отзывал тихие печали, омрачавшие его сердце:

Меня прогнала, не сказав спасибо,
Однако волосы не стану рвать я, ибо
Без них я менее прекрасен был бы.

Ее поступок глуп и странен даже,
Ведь чувства нежные испытывала раньше;
Причина, верно, в перемене обстоятельств.

Наступила недолгая тишина; лошадь споткнулась о камень, лежавший на дороге, и сбросила своего седока. Среди высохших листьев раздался треск; юноша встал; легкая ссадина на левом плече и пришедший в беспорядок галстух были единственными признаками, напоминавшими об этом незначительном происшествии».

— Этот отрывок, — заметили мы, возвращая бумагу, — явно написан в стиле «Водянистой» школы.

— Вы совершенно правы, — отвечал наш друг, — в его нынешнем виде и учитывая современные условия, разумеется, это произведение не будет иметь совершенно никакого спроса; однако мы увидим, что следующая степень проявления превратит его в образчик энергичной, или «реалистической», школы. — Окунув бумагу в различные кислоты, он снова вручил ее нам; теперь она предстала в следующем виде:

«Вечер носил обычный характер, барометр показывал „перемену погоды“; в лесу поднимался ветер, и начал падать небольшой дождь: плохие перспективы для сельского хозяйства. По верховой дороге приближался какой-то джентльмен, державший в руке крепкую узловатую палку и сидевший верхом на вполне работоспособном жеребце стоимостью примерно сорок фунтов; на лице всадника застыло деловое выражение, и он насвистывал по пути — предположительно, искал в голове риф-

мы, — а некоторое время спустя прочитал, удовлетворенным тоном, следующее сочинение:

Ну ладно, пусть не состоялась сделка.
Так ведь сама ж осталась в девках,
Знать, дура: мыслит слишком мелко.

Подумаешь, велика честь!
Ей следовало бы учесть:
Полно девиц не хуже есть.

В этот момент конь провалился копытом в дырку и опрокинулся; его всадник с трудом поднялся; он получил несколько сильнейших ссадин и сломал два ребра; прошло некоторое время, прежде чем он забыл этот неудачный день».

Мы возвратили данный текст, выразив свое глубочайшее восхищение, и попросили, по возможности, придать ему наибольшую степень резкости. Наш друг с готовностью согласился и вскоре представил нам результат, который, как он проинформировал нас, принадлежал «Эмоциональной», или Немецкой, школе. Мы внимательно прочитали предложенный текст, испытывая при этом неопишуемые ощущения удивления и радости:

«Ночь была дико бурной; ураган неистовствовал по всему мрачному лесу; разъяренные струи дождя рвали стонущую землю. Безудержным галопом вниз напролом по крутому горному урочищу разящей молнией пронесся вооруженный до зубов рейтар; его жеребец рвался под ним бешеным галопом, изрыгая на лету искры из раздутых ноздрей. Сдвинутые брови всадника, вращающиеся глазные яблоки и стиснутые зубы выражали глубокую аго-

нию его рассудка; странные видения маячили в его пылающем мозгу, в то время как с безумным криком он изрыгал из себя поток своей бурлящей страсти:

Огонь и сталь! Надеждам всем конец!
Перевернись в могиле, проклятый мертвец!
Мой мозг — вулкан, душа — свинец!

Ее душа — кремень, а взгляд — шрапнель!
Не смог разбить я сердца цитадель!
Небытие есть мой удель!

Наступила короткая пауза. О ужас! Его путь закончился в разверстой пропасти... Трах! — бах! — ах! — все закончилось. Три капли крови, два зуба и стремя — вот и все, что говорило о том, что здесь встретил свою судьбу безумный всадник».

Тут молодого человека привели в чувство и показали результаты работы его ума; он мгновенно упал в обморок.

Учитывая, что в настоящее время это искусство находится лишь в стадии становления, мы воздерживаемся от дальнейших комментариев в отношении сего чудесного открытия; но голова идет кругом, когда размышляешь, какие невероятные возможности открываются теперь перед силами науки.

Наш друг завершил демонстрацию различными дополнительными опытами, такими как переработка отрывка из Вордсворта в образчик сильной, безукоризненной поэзии: такой же эксперимент был проделан по нашей просьбе с отрывком из Байрона, но бумага сильно обгорела под воздействием пламенных эпитетов, произведенных применением концентрированных реактивов.

И последнее замечание: *нельзя ли* применить это искусство (мы ставим этот вопрос, взывая к соблюдению строжайшей тайны), — *нельзя ли*, спрашиваем мы, применить его к речам, произносимым в парламенте? Возможно, это лишь фантазия нашего воспаленного воображения, но мы все равно будем наивно цепляться за эту идею и надеяться на ее осуществление вопреки всему.

ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА

Присягаю, что сие есть подлинное и ужасное описание касательно покоев Оклендского замка, прозываемых Шотландией, и всех вещей, пережитых там Мэтью Диксоном, торговцем, и некоей дамой, прозываемой Гонлесс, или «Лишенной Платья», в тех покоях обнаруженной, и того, как никто в течение этих дней не спал там (вероятно, из-за страха), и что все указанные вещи случились во времена достопамятного епископа Бека, и что сие записано в год одна тысяча триста двадцать пятый месяца февраля в некий вторник и другие дни.

Эдгар Кутвеллис

Итак, указанный Мэтью Диксон доставил товары в сие место по повелению моих господ, которые наказали также, чтобы его славно угостили (что было исполнено, причем поужинал он с большим аппетитом) и уложили спать в некой комнате замка, ныне прозываемой Шотландией. Откуда в Полночь он выбежал с таким великим Криком, что разбудил всех людей, которые спешно побежали в эти Покои и встретили его так кричащим, в каковой момент он тут же лишился чувств.

Тогда его перенесли в гостиную Милорда и с большими хлопотами водрузили на Стул, откуда он три нескольких раза падал на пол, к большому восхищению всех присутствовавших.

Но, будучи подкреплен различными Крепкими Напитками (и, главное, Джинном), он немного погодя сообщил жалобным голосом следующие далее подробности, в полное подтверждение чему при-

сыглись девять работающих и отважных земледельцев, которые жили неподалеку, и его свидетельство я здесь надлежащим образом изложу.

Показания Мэтью Диксона, торговца, находящегося в здравом уме и более Сорока Лет От Роду, хотя и здорово напуганного по причине Зрелищ и Звуков в этом Замке, пережитых им, касательно Видения Шотландии и Призраков, оба из которых там содержатся, и о некоей странной Даме и о жалобных вещах, ею молвленных, с другими печальными мелодиями и песнями, ею и другими Призраками придуманными, и о заолодении и дрожании его Костей (по причине сильно великого ужаса), и о других вещах, которые зело приятно узнать, главным образом о Картине, которую впоследствии следует запечатлеть, и о том, что после того воспоследует (как доподлинно предсказано Призраками), а также о Тьме и других вещах, более ужасных, чем Слова, и о том, что Люди называют Химерой.

Мэтью Диксон, торговец, показал под присягой: «что он, хорошо поужинав в течение Вечера Молодым Гусем, Пирогом с Мясом и другими приправами, поданными от великой щедрости Епископа (молвя это, он посмотрел на Милорда и попытался стянуть с себя шапку, но потерпел неудачу, ибо сего Убора на его голове не оказалось), отправился в постель, где в течение долгого времени его тревожили жестокие и ужасные Сны. Что он увидел в своем Сне молодую Даму, облаченную (как ему показалось) не в Платье, но в некоего рода Капот, с различного рода Опорками». (В этом месте Горничная заявила, что ни одна Дама не станет надевать Опорки, и он ответил: «А я стою на своем»,

и в самом деле поднялся со стула, но удержаться на ногах не смог.)

Свидетель продолжил: «что указанная Дама махала взад-вперед Огромным Факелом, в каковой момент тонкий Голос заверещал: „Без платья! Без платья!“ — и как она стояла посреди пола, так и стряслась с ней большая Перемена, и Цвет ее Лица стал восковеть и делаться все Старее и Старее, а Волосы ее седеет, и все это время она говорила самым печальным Голосом: „Без Платья теперь, как Дамы ходят: но в грядущие годы недостатка в платьях у них не будет“, в каковом месте ее Капот будто начал медленно таять, превращаясь в шелковое Платье, которое было собрано складками вверху и внизу, а в остальном сидело как влитое в нужных местах». (Здесь Милорд, придя в нетерпение, дал ему оплеуху и велел тотчас же заканчивать свою историю.)

Свидетель продолжил: «что указанное Платье затем стало меняться по разным Модам, которые будут в Грядущем, сворачиваясь и подбираясь в том либо ином месте, открывая взгляду нижнюю юбку самого огненного Оттенка, даже Пурпурную на вид, при каковом зловещем и кровожадном зрелище он одновременно застонал и заплакал. Что наконец юбка разрослась до Безграничности, описание коей неподвластно Человеку, с помощью (как он предположил) Обручей, Каретных Колес, Воздушных Шаров и тому подобного, которые поддерживали материю и поднимали ее вверх изнутри. Что Платье сие наполнило все Помещение, придавив его к кровати, пока Дама вроде не удалилась, по дороге припалив ему волосы своим Факелом».

«Что он, пробудившись от таких Снов, услышал свистящий шум, похожий на ветер в тростниках, и увидел Свет». (В этом месте Горничная перебила его, закричав, что в этой самой комнате действительно была оставлена для света тростниковая свеча, и наговорила бы еще больше, но тут Милорд осадил ее и повелел заткнуться, сим тактично дав понять, что ей следует попридержать свое помело.)

Свидетель продолжил: «что, будучи зело напуганным всем этим, в то время как все его Кости (как он сказал) дрожали, он попытался выпрыгнуть из кровати и таким образом скрыться. Но он немного замешкался, и не потому, как можно подумать, что крепок Сердцем, а скорее Телом; в каковой момент Дама начала напевать обрывки старых баллад, как говаривал мастер Вил Шекспир». (В этом месте Милорд спросил его, каких именно, велев ему их спеть, и сказал, что ему известны только две баллады, в которых есть «обрывки»: «От парусов французских остались лишь обрывки» и «Ловя обрывки вражьих разговоров, на ус мотал, чтоб доложить потом», каковые Песни он затем и начал напевать, хотя и фальшиво, из-за чего некоторые стали улыбаться.)

Свидетель продолжал: «что он, возможно, смог бы спеть указанные баллады под Музыку, но без аккомпанемента не отважится». После этих слов его отвели в классную комнату, где находился Музыкальный Инструмент, прозываемый Фортель-Пьяно (означающий, что на нем можно выделять различные пьяные фортели), на котором две молодые дамы, Племянницы Милорда, которые проживали там (научаясь, как они полагали, Урокам; но,

как мне доподлинно ведомо, немало бездельничая), сильно стучая по клавишам, сопровождали его пение некоей Музыкой, стараясь изо всех сил, дабы Мелодии были таковыми, каковые ни один Человек дотоле не слыхивал.

Жил наш Лоренцо в Хайтингтоне
(И спал он в хижине из бревен),
Но, если и не точно там —
Точнее вам он скажет сам, —
То уж совсем поблизости.
Пришел ко мне он раз на чай —

Однако вечер весь молчал,
Пока я не спросил его:
«Ты любишь хлеб без ничего?»
Тут он ответил: «С маслом».

(Припев, к которому все присутствующие с пылом присоединились:)

У глупой лапши
Лапшинные мозги,
Такую лапшу ненавижу, не люблю.

Свидетель продолжил: «что она затем явилась перед ним облаченная в тот же самый свободный Капот, в коем он впервые узрел ее в своем Сне, и ровным и пронзительным голосом поведала свою Историю в нижеследующем виде».

История Дамы

«Нежным осенним вечером можно было увидеть, как в одном месте, неподалеку от Оклендского замка, фланировала молодая Дама, отличавшаяся-

ся холодными и самоуверенными манерами, хотя и недурной наружности, — можно было бы сказать, в определенной степени прекрасная, если бы это не было неправдой.

Этой юной Дамой, о Несчастный, была я (после каких-то слов я потребовал объяснений, на каком основании она считает меня несчастным, и она ответила, что это не важно). В те времена я кичилась тем, что достигла вершин не столько в красоте, сколько в статности Фигуры, и чрезвычайно желала, чтобы какой-нибудь Художник запечатлел бы мой портрет; но они были недоступны, не в том смысле, что были такими мастерами, а просто слишком много запрашивали. (Тут я самым скромнейшим образом поинтересовался, какие цены запрашивали тогдашние Художники, но она высокомерно ответствовала, что денежные вопросы вульгарны, что она не знает, нет, ее это не интересовало.)

И вот случилось, что некий Художник, досто- чтимый Лоренцо, прибыл в Эту Местность, имея с собой чудесную машину, называемую людьми Хи- мерой (что означает сказочную и целиком невероятную вещь), с помощью которой он сделал много картин, каждую за единый момент времени, за какой Человек может и оглянуться не успеть. (Я спросил ее, какой это может быть момент Времени, чтобы человек не успел оглянуться, но она нахмурилась и ничего не ответила.)

Именно он и сделал мой Портрет, от которого мне требовалась в основном одна вещь: что он должен быть в полный рост, ибо никаким иным образом не была бы видна моя Статность. Тем не менее, хотя он сделал много Портретов, в этом отношении

они были неудачны: ибо одни, начинаясь с Головы, не захватывали ноги, другие, захватывая ноги, не захватывали головы; из каковых первые были горем для меня, а вторые — вызывали Смех у других.

На эти вещи я справедливо сердилась, притом что сначала была с ним дружелюбна (хотя, по правде сказать, он был скучен), и часто сильно шлепала его по Ушам и выдирала из его Головы некоторые Пряди, по поводу чего он кричал и, как правило, говорил, что я сделала жизнь для него в тягость, в чем я не столько сомневалась, насколько этому радовалась.

В конце концов он посоветовал, что нужно сделать Портрет так, чтобы вместился такой кусок юбки, какой только может вместиться, и в отношении этого поместить внизу Надпись такого содержания: «Предмет, два с половиной ярда длиной точно такой же, как и выше, а затем Ноги». Но это ни в коем случае меня не удовлетворяло, и посему я заперла его в Подвале, где он оставался три Недели, с каждым днем становясь все хуже и хуже, пока в конце концов не начал взмывать вверх и опускаться как Перо.

И случилось так, что в то время, когда я спросила его однажды, запечатлеет ли он меня теперь в полный рост, и он отвечал мне тоненьким стенающим Голоском, будто Комар, кто-то случайно открыл Дверь — и его подняло вверх Сквозняком и утащило в Трещину в Потолке, и я осталась ждать его, держа над Головой свой Факел до тех пор, пока и сама не превратилась в Призрака, приклеившись к Стене».

Тогда Милорд и Компания поспешили в Подвал, дабы увидеть странное зрелище, прибыв в каковое место Милорд храбро вынул свой меч, громко закричав: «Смерть!» (хотя кому или чему, он не объяснил); затем некоторые вошли внутрь, но бóльшая часть заробела, подбадривая тех, кто был впереди, не столько своим примером, сколько Словами приободрения; все же наконец все вошли, и последним Милорд.

Затем они убрали от стены Винные Бочки и другие вещи и обнаружили упомянутого Призрака, в жутком состоянии, однако дошедшего до наших дней, при каковом ужасном зрелище поднялись такие вопли, каковые в наше время редко или вообще никогда не услышишь; некоторые упали в обмороки, некоторые спаслись от этой Крайности посредством больших порций Пива, хотя и они были едва живы от Страх.

Затем Дама заговорила с ними таким образом:

Здесь я живу и буду обитать,
И образ мой здесь будет представлять,
Пока какая-нибудь здешняя девица,
С которой у нас одинаковы имена и лица
(Хотя имя мое останется в тайне,
Мои инициалы вы узнаете заранее),
Не будет сфотографирована как надо —
Чтобы были видны и туфли, и на губах помада, —
Тогда мое лицо исчезнет навсегда
И никогда не испугает вас — да-да!

И тогда сказал ей Мэтью Диксон: «Для чего ты держишь вверху этот Факел?» — на что она ответила: «Свечи Дают Свет», но никто ее не понял.

После этого откуда-то сверху донесся тоненький
Голосок:

В подвале Оклендского замка —
Давным-давным-давно —
Меня закрыла интриганка,
Здесь мокро и темно!

Снять ее с головы до ног,
Как ни старался, я не смог.
Tempore (я говорю ей)
Practerito!

(К этому Припеву никто не отважился присоединиться, поскольку Латынь для них была Языком незнакомым.)

Она была сурова, безжалостна была —
Давным-давным-давно,
Морила меня голодом — ни хлеба, ни овса —
Ей было все равно!

Отдал бы я последний пенни.
Чтобы сбежать из Шотландии этой, —
Да, люди, жизнь несправедлива,
Налейте мне, друзья!

Затем Милорд, отложив свой Меч (который был впоследствии водружен на стену в память о такой великой Отваге), приказал своему Дворецкому принести ему тотчас же Сосуд с Пивом, из какого Сосуда он хорошенько подкрепился: «Если уж суждено нам пережить такое испытание, — сказал он, — то должно испить сию Чашу до дна».

ИСКУССТВО И КРАСОТА

Сначала я испытывал серьезные сомнения, назвать этот отрывок из моей жизни «Стон» или же «Хвалебная песнь» — так много в нем содержится великого и славного и так много мрачного и угрюмого. Пытаясь найти нечто среднее, я в конце концов остановился на указанном выше названии — ошибочно, разумеется; я всегда ошибаюсь: но позвольте мне сохранить спокойствие и изложить все по порядку. Настоящий оратор отличается тем, что вначале никогда не поддается взрыву страсти; самые мягкие из общих мест — это все, что он осмеливается позволить себе в начале своей речи, а уж затем экспрессивность его слов постепенно нарастает: «vires acquirit eundo»¹. Таким образом, прежде всего достаточно сказать, что меня зовут Леопольд Эдгар Стаббс. Я четко заявляю об этом факте с самого начала, с тем чтобы исключить любую возможность того, что читатель спутает меня с известным обувщиком, носящим эту фамилию и проживающим на Поттл-стрит в Камбервелле, или с моим менее почтенным, но гораздо более известным од-

¹ Растет и набирает силы (лат.).

нофамильцем Стаббсом, комиком из Провинций¹, связь с каковыми я отвергаю с ужасом и презрением; однако не желая при этом оскорбить кого-либо из упомянутых личностей — людей, с которыми я никогда не встречался и надеюсь не встретиться.

Вот и все, что касается общих мест.

Скажи мне теперь, о человеке! умудренный в интерпретации снов и знамений, как могло случиться, что как-то в пятницу днем, неожиданно поворачивая из-за угла Большой Уэйтлс-стрит, я вдруг нечаянно столкнулся с робким индивидуумом, обладавшим непривлекательной наружностью, но взглядом, в котором пылал весь огонь гения? При этом накануне ночью мне был сон, что вскоре суждено сбыться великой идее моей жизни. Какова была великая идея моей жизни? Я вам расскажу. Поведаю со стыдом, а может быть, с печалью.

Моим стремлением и страстью с детских лет (преобладавшими над любовью к игре в шарики и идущими голова в голову с моей слабостью к ирискам) была поэзия — поэзия в ее самом широком и самом буйном смысле — поэзия, свободная от ограничений законов здравого смысла, рифмы или ритма, парящая сквозь вселенную и эхом отражающая музыку сфер! С юных лет, нет, с самой колыбели я жаждал Искусства: поэзии, красоты, романтики. Когда я говорю «жаждал», я использую слово, мягко выражающее то, что можно считать общим описанием моих чувств в более спокойные моменты: оно столь же способно описать безудержную стре-

¹ Канада.

мительность моего энтузиазма, сохраненного на протяжении всей жизни, как те опровергающие законы анатомии картины, которые украшают вход в «Аделфи»¹ и представляют гимнаста Флексмора в одной из множества мыслимых поз, о которых до толе даже не подозревало человеческое тело, передают любопытному посетителю театра истинное представление о подвигах, совершаемых этим необычайным сочетанием человеческой плоти и каучука.

Я отклонился от темы: это замечательная особенность, если мне позволено будет так выразиться, присущая жизни. Однажды, присутствуя на званом обеде (подробности которого за недостатком времени я опускаю), я задал риторический вопрос: «В конце концов, *что же* такое жизнь?» И оказалось, что никто из присутствующих индивидуумов (всего нас было девять человек, включая официанта, и вышеупомянутое наблюдение было сделано, когда уносили суп) не смог предоставить мне рациональный ответ на этот вопрос.

Стихи, которые я писал в ранний период жизни, замечательно выделялись тем, что были полностью свободны от всяких условностей и, таким образом, совершенно не соответствовали современным требованиям литературы: в будущем веке их будут читать и ими будут восхищаться, «когда Мильтон, — как частенько восклицает мой достопочтенный дядюшка, — когда Мильтон и подобные ему будут забыты!» Если бы не этот сочувствующий мне род-

¹ Лондонский эстрадный театр.

ственник, то, по моему твердому убеждению, поэтические произведения моего толка никогда бы не увидели свет; я все еще помню те волнующие чувства, которые я испытал, когда дядя обещал мне шесть пенсов, если я подберу рифму к слову «деспотизм». Да, верно, что мне так и не удалось найти такую рифму, зато в следующую же среду я написал свой известный «Сонет о мертвом котенке» и в течение двух недель начал три эпические поэмы, названия которых я теперь, к сожалению, уже не помню.

Семь томов поэтических произведений я подарил неблагодарному миру в течение своей жизни; все они разделили судьбу истинного гения — безвестность и презрение. При этом нельзя сказать, чтобы в их содержании можно было найти какие-то недостатки; какими бы ни были допущенные в них промахи, *ни один критик до сих пор еще не осмелился их критиковать*. И этот факт знаменателен.

Единственным моим сочинением, которое до сих пор произвело хоть какое-то волнение в обществе, был сонет, который я посвятил одному человеку из муниципалитета Магглтон-и-Суиллсайд по случаю избрания его мэром этого города. По большей части сонет был в ходу среди частных лиц, и о нем в ту пору много говорили; и, хотя его герой, проявляя характерную вульгарность ума, не оценил содержащихся в нем тонких комплиментов и, вообще, отзывался о нем скорее неуважительно, чем наоборот, я склонен думать, что этот образчик поэзии обладает всеми элементами великого произведения. По совету приятеля к нему был добавлен завершающий куплет, поскольку, как он заверил меня, необ-

ходимо придать ему смысловую законченность, и в этом отношении я положился на его более зрелое мнение:

Когда б Опустошения зловещее крыло
Накрыло каждый град имперский и село;
Когда бы свет, пустой иллюзией рожденный,
Смог осветить лишь камень черный и зловонный;
Когда б монарший род ушел в небытие,
Поспешно растворившись в страшной тьме;
Когда б убийцы подбиралися к границам,
Мечом своим сверкая ненасытным, —
В такой бы час твое величье проявилось, —
Конечно, если бы такое вдруг случилось,
В такой бы час хвалу тебе воспели,
Если не я, то подостойней менестрели;
Все взоры на тебя направят люди наши,
Когда такой настанет час, но уж никак не раньше!

Альфред Теннисон — поэт-лауреат, и не мне оспаривать его претензию на это высокое положение; и все же я не могу избавиться от мысли, что, если бы правительство в свое время сказало свое веское слово и ввело принцип равного состязания, открыв доступ для всеобщего участия и предложив какую-нибудь тему для проверки способностей кандидата (например, «Фремптонова пилюля здоровья, акростих»), возможно, тогда мы имели бы совсем другой результат.

Но давайте вернемся к нашим баранам (как исключительно неромантически выражаются наши благородные союзники-французы) и к приказчику с Большой Уэттлс-стрит. Он выходил из маленького магазинчика — грубо сколоченной, чрезвычайно

обветшалой и вообще убогой на вид лавчонки; спрашивается, что я увидел во всем этом такого, что внушило мне надежду на наступление в моей жизни великой эпохи? Читатель, я увидел вывеску!

Да. На этой ржавой вывеске, неуклюже поскрипывавшей на единственной петле и скрежетавшей об облупленную стену, была надпись, от одного взгляда на которую меня охватило непривычное возбуждение. «Саймон Любкин. Изготовление и продажа искусств». Вот эти самые слова.

Была пятница, четвертое июня, половина четвертого вечера.

Я трижды прочитал эту надпись, после чего вынул из кармана записную книжку и сразу же переписал; при этом приказчик наблюдал за мной в течение всего этого процесса взглядом, полным серьезного и (как мне тогда показалось) уважительного изумления.

Я остановил этого приказчика и завязал с ним разговор; годы агонии, прошедшие с той поры, постепенно выжгли эту сцену клеймом в моем терзаемом сердце, и я могу повторить все, что произошло, слово в слово.

Обладает ли приказчик (это был мой первый вопрос) родственной душой или не обладает?

Приказчик затруднялся ответить на этот вопрос.

Известно ли ему было (произнесено с придыханием и нажимом) значение этой замечательной надписи на вывеске?

Слава богу, приказчик о ней знал все.

Не будет ли приказчик (пренебрегая неожиданностью приглашения) возражать против того, что-

бы перейти в ближайшую пивную и там обсудить вопрос в более располагающей обстановке?

Приказчик *не* возражал бы промочить горло. Совсем даже наоборот.

(Перенос заседания, соответственно: бренди с водой на двоих: беседа продолжилась.)

Хорошо ли продается товар, в частности среди простого люда?

Приказчик бросил на меня взгляд, полный снисходительной жалости; товар продается хорошо среди всякого люда, сообщил он, и в том числе среди самого что ни на есть простого.

Почему бы не упомянуть в надписи еще и слово «красота»? (Это был критический момент: я дрожал, задавая свой вопрос.)

Совсем недурная мысль, посчитал приказчик: в свое время можно было бы и написать, мы ведь и правда красивые вещи делаем. Но время, знаете ли, летит.

Был ли приказчик одинок в величии своего дела или еще кто-нибудь торгует товаром в таких же масштабах?

Приказчик мог побожиться, что таких не было.

Для чего используются ваши товары? (Я задал этот вопрос задыхаясь, из-за возбуждения едва смог вытолкнуть из сжавшегося горла эту фразу.)

Люди дарят их друг другу, полагал приказчик, чтобы они не портились и сохранялись подольше.

Эту фразу было трудно истолковать. Я немного подумал над ней, а потом сказал с сомнением: «Я полагаю, вы имеете в виду, что они нужны для того, чтобы их красота вечно оставалась в душе? Вы

облекаете в некую жизненную реальность химерические продукты плодотворного воображения, дабы люди всегда могли получать наслаждение от прекрасного?»

Ответ приказчика был краток и невразумителен: «Ну, наверно... мы люди неученые».

На этой стадии беседа явно начала иссякать; я серьезно обдумывал в уме, может ли это действительно быть исполнением мечты всей моей жизни: настолько плохо эта сцена сочеталась с моими представлениями о прекрасном и настолько болезненно я ощущал отсутствие в моем спутнике сочувствия к энтузиазму моей натуры — энтузиазму, до сих пор находившему выход в действиях, которые бездумная толпа слишком часто приписывала простой эксцентричности.

Я вставал с жаворонками — «милыми вестниками дня» (один раз точно, если не больше) — с помощью патентованного будильника и выходил в этот неподобающий час, к большому изумлению горничной, выметающей ступеньки перед входом, чтобы «смахнуть поспешными шагами росу с травинок на лужайке», и лично наблюдал золотистый рассвет собственными глазами, пусть и прикрытыми в полудреме. (Я всегда заявлял своим друзьям, при любом упоминании этого события, что мой восторг в тот момент был таков, что я с тех пор не рискнул вторично подвергнуть себя воздействию столь опасного возбуждения. Однако если говорить по секрету, то признаю, что реальность не дотянула до того представления о восходе солнца, которое сформировалось в моем мозгу за ночь, и ни в коей мере не

возместило битву с самим собой, которую мне пришлось перенести, чтобы так рано подняться с постели.)

Я бродил по ночам в мрачных лесах и склонялся над покрытым мхом ключом, омывая в его кристальной струе свои спутанные локоны и пылающий лоб. (Что из того, что в результате я слег со страшной простудой и что мои волосы распрямились и мне целую неделю не удавалось придать им должную волнистость? Разве ничтожные соображения, подобные этим, спрашиваю я, умаляют поэтику данного инцидента?)

Я распахивал настежь двери моего маленького, но аккуратно обставленного жилища неподалеку от Сент-Джонс-Вуд и приглашал престарелого нищего «посидеть у моего очага и проговорить всю ночь напролет». (Это случилось сразу же после прочтения «Покинутой деревни» Голдсмита. Правда, старикан не рассказал мне ничего интересного и, покидая утром мой коттедж, прихватил с собой настенные часы; тем не менее дядюшка постоянно повторяет, как ему жаль, что его там не было, и что сей инцидент показывает присутствие во мне такой свежести и неискушенности воображения (или «характера», я точно забыл, чего именно), каковых он во мне никогда не подозревал.)

Я чувствую, что обязан более полно углубиться в последнюю тему — историю моего дяди: однажды мир дойдет до того, чтобы преклоняться перед талантами этого замечательного человека, хотя недостаток средств не позволяет в настоящий момент опубликовать великую систему философии, изоб-

ретателем которой он является. Пока же из массы бесценных манускриптов, кои он завещал неблагодарной нации, я рискну выбрать один поразительный образчик. И когда настанет день и моя поэзия будет оценена всем миром (каким бы далеким ни казался этот день сейчас!), тогда, я уверен, его гений также обретет свою заслуженную славу!

Среди бумаг этого уважаемого родственника я нахожу то, что выглядит как лист, вырванный из какого-то современного философского труда: подчеркнут следующий отрывок. «Это ваша роза? Она моя. Она твоя. Это ваши дома? Они мои. Дайте мне хлеб(ов). Она дала ему по уху». Рядом с этим местом заметка на полях, сделанная почерком моего дяди: «Некоторые называют это несвязной речью: я имею на сей счет собственное мнение». Последняя фраза была его излюбленным выражением, скрывающим глубину этической проницательности, о которой было бы тщетно рассуждать; в самом деле, настолько непритязательно прост был язык этого великого человека, что никому, кроме меня, никогда не приходило в голову, что он обладает чем-то большим, нежели обычная толика человеческого интеллекта.

Могу ли я, однако, изложить то, как, по моему мнению, дядя интерпретировал этот замечательный отрывок? Похоже, что автор намеревался провести различия между сферами Поэзии, Недвижимости и Личного имущества. Вначале исследователь касается цветов, и с какой вспышкой искреннего чувства обрушивается на него ответ! «Она моя. Она твоя». Это прекрасно, верно, хорошо; эти фразы не связа-

ны мелкими соображениями «теит» и «tuит»; они представляют общую собственность всех людей. (Именно с подобной мыслью я начертил когда-то прославленный билль, озаглавленный «Закон об освобождении Фазанов от действия законодательства об охране диких зверей и птиц на основании их Красоты», — билль, который, несомненно, триумфально прошел бы в обеих палатах, если бы члена парламента, который взял на себя заботу о нем, к несчастью, не посадили в приют для умалишенных, прежде чем сей документ приняли ко второму чтению.) Ободренный успехом своего первого вопроса, наш исследователь переходит к «домам» (недвижимое имущество, как вы убедитесь сами); здесь он сталкивается с суровым, леденящим ответом. «Они мои» — полное отсутствие тех либеральных чувств, которыми продиктован предыдущий ответ, но вместо этого — полное достоинства притязание на права собственности.

Если бы это был подлинный сократовский диалог, а не просто его современная имитация, исследователь, вероятно, перебил бы в этом месте собеседника фразами: «Мне, лично, думается», или «Я, со своей стороны», или «А как же еще?», или каким-либо другим из тех своеобразных выражений, с помощью которых Платон заставляет своих персонажей сразу продемонстрировать их слепое согласие с мнениями учителя и их чрезвычайную неспособность выражаться грамматически правильно. Но автор использует другое направление мысли; отважный исследователь, не обескураженный холодностью последнего ответа, переходит от вопро-

сов к требованиям: «дайте мне хлеб(ов)»; и здесь беседа неожиданно обрывается, однако мораль всего отрывка в целом сконцентрирована в фразе «она дала ему по уху». Это не философия одного индивидуума или нации, это чувство, если можно так сказать, общеевропейское; и моя теория подтверждается тем фактом, что текст явно напечатан тремя параллельными колонками, на английском, французском и немецком.

Таким человеком был мой дядя; и с таким человеком я решил свести лицом к лицу подозрительного приказчика. Я договорился о встрече на следующее утро, сказав, что хочу лично осмотреть «товары» (я не мог заставить себя произнести само возлюбленное слово). Я провел беспокойную и даже тревожную ночь, раздавленный ощущением приближающегося переломного момента.

И наконец час настал — час страдания и отчаяния; он всегда наступает, его нельзя откладывать без конца; даже при визите к дантисту, как можно убедиться на моем собственном детском опыте, мы не можем добираться к врачу бесконечно; роковая дверь неотвратимо надвигается на нас, и наше сердце, которое за последние полчаса постепенно опускается все ниже и ниже, пока мы не начинаем почти что сомневаться в его существовании, неожиданно исчезает, падая в глубины, доселе и во сне не снившиеся. Итак, повторяю, наконец час настал.

Когда я стоял перед дверью этого низменного приказчика с трепещущим и полным ожидания сердцем, мой взгляд случайно упал еще раз на эту вывеску, и я еще раз изучил странную надпись. О!

Роковая перемена! О ужас! Что я вижу? Неужели я стал жертвой разгоряченного воображения? Как мог я не заметить последнего слова на вывеске!

«Изготовление и продажа
искусств.
цветов»!

И тут сон развеялся.

На углу улицы я обернулся, чтобы бросить печальный нежный взгляд на фантом призрачной надежды, которая когда-то была так дорога моему сердцу. «Прощай!» — прошептал я; это было все мое последнее «прости», и, опершись на трость, я смахнул слезу. На следующий день я вошел в коммерческие отношения с фирмой «Дампи и Спагг», оптовыми торговцами вином и спиртными напитками.

Вывеска все еще скрипит, ударяясь об облупленную стену, но ее звук больше никогда не зазвучит музыкой в этих ушах — ах! никогда.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФА

У меня все болит, саднит, ломит и гудит. Как я уже неоднократно повторял, я не имею ни малейшего понятия, как это произошло, и бесполезно допрашивать меня новыми расспросами. Конечно, если вам так уж хочется, я могу прочесть выдержку из своего дневника, содержащего полный отчет о событиях вчерашнего дня, но, если вы ожидаете найти в нем разгадку этой тайны, боюсь, вас ожидает жестокое разочарование.

23 августа, вторник. Бытует мнение, что мы, фотографы, в лучшем случае — слепцы; что мы воспринимаем даже самые красивые лица как определенное сочетание света и тени; что мы редко восхищаемся и никогда не любим. Это иллюзия, которую я жажду развеять, — если бы только мне найти в качестве модели юную девушку, воплощающую мой идеал красоты, и, самое главное, если бы ее звали... (странно, почему это я испытываю безумную любовь к имени Амелия больше, чем к какому-либо другому?), — я уверен, что смог бы стряхнуть с себя эту холодную философическую вялость.

И этот час наконец пришел. Не далее как сегодня вечером я столкнулся на Хеймаркет-стрит с юным Гарри Гловером.

— Таббс! — вскричал он, фамильярно хлопая меня по спине. — Мой дядя хочет, чтобы ты был завтра у него на вилле с фотоаппаратом и всеми причиндалами!

— Но я ведь незнаком с твоим дядей, — ответил я со свойственной мне осторожностью. (NB. Если у меня и есть достоинства, то это спокойная, исполненная благородства осторожность.)

— Не важно, старина, главное, что он все знает о тебе. Выезжай первым поездом и возьми с собой всю свою химию, потому что там у тебя будет возможность обезобразить кучу физиономий и...

— Не могу! — довольно грубо ответил я, встревоженный масштабами предстоящей работы. Я решил сразу оборвать его, поскольку решительно против того, чтобы разговаривать на подобном жаргоне в общественных местах.

— Ну что ж, тогда они здорово обидятся, вот и все, — сказал Гарри, сохраняя довольно невозмутимое выражение, — а моя кузина Амелия...

— Ни слова больше, — с энтузиазмом вскричал я, — я еду! — И поскольку в этот момент подошел мой омнибус, я впрыгнул на подножку и укатил под грохот колес и цокот копыт, прежде чем он опомнился от изумления, вызванного произошедшей во мне переменой. Итак, решено: завтра я увижу Амелию, и — о Фортуна! — что еще ты уготовила мне?

24 августа, среда. Восхитительное утро. Собрался в большой спешке; по счастью, при этом разбил только две бутылки и три мензурки. Прибыл на виллу Розмари, когда вся компания только сяди-

лась завтракать. Отец, мать, два сына-школьника, куча детей ясельного возраста и неизбежный МЛАДЕНЕЦ.

Но как мне описать дочь? Слова бессильны; этого не в состоянии сделать никто и ничто, кроме фотопластинки. Ее носик был идеален, ротик, возможно, следовало бы чуть-чуть уменьшить, зато изысканные полутона на щеке могли бы ослепить любого, заставив закрыть глаза на любые недостатки, а что до блика на подбородке, он был (с точки зрения фотографического искусства) само совершенство. О! Какая бы из нее получилась фотография, если бы судьба не... — впрочем, я забегаю вперед.

Там же присутствовал некий капитан Фла-наган...

Я понимаю, что предыдущий абзац закончился довольно неожиданно, но когда я дошел до этого места, то вспомнил: этот идиот искренне полагал, что помолвлен с Амелией (с *моей* Амелией!). У меня от возмущения сперло дыхание, и я не мог продолжать дальше. Его фигура, я готов это признать, была недурна: возможно, кому-то понравилось бы его лицо; но что такое лицо и фигура без мозгов?

Моя собственная фигура, возможно, отличается *некоторой* коренастостью; по телосложению я совсем не похож на этих военных жирафов — но почему я должен себя описывать? Моя фотография (сделанная мной самим) позволит всему миру оценить меня по достоинству.

Завтрак, без сомнения, был хорош, но я не осознавал, что ем или пью; я жил лишь для одной Амелии, и, уставившись неподвижным взглядом в этот

бесподобный лобик, эти точеные черты, я сжимал кулаки в невольном порыве (при этом расплескав кофе) и восклицал про себя: «Я сфотографирую эту женщину или погибну, пытаюсь это сделать!»

После завтрака я приступил к работе, суть которой я здесь вкратце изложу.

Картина 1. Paterfamilias¹

Этот снимок я хотел сделать еще раз, но они все заявили, что прекрасно сойдет и так, и на нем просто запечатлено «его обычное выражение»; хотя, если только его обычным выражением не было выражение человека, у которого в горле застряла кость и который отчаянно старается облегчить агонию удушья посредством созерцания обоими глазами кончика носа, я должен признать, что данная трактовка была слишком доброжелательной.

Картина 2. Materfamilias²

Усаживаясь для фотографирования, она, глупо улыбаясь, сообщила нам, что «в юности очень любила театральные постановки» и что «хотела бы, чтобы ее сняли в образе одной из ее любимых шекспировских героинь». После долгих и тревожных размышлений на эту тему я, в бессилии, отказался от попыток догадаться, что это за героиня, сочтя это безнадежной загадкой, поскольку не знал ни одной из шекспировских героинь, которой бы поза, полная такой судорожной энергии, сочеталась бы с настолько апатичным лицом или которую мож-

¹ Отец семейства (*лат.*).

² Мать семейства (*лат.*).

но было бы, соответственно, представить одетой в голубое шелковое платье с гофрированным круглым воротником времен королевы Елизаветы, с шотландским шарфом на плече и с охотничьим хлыстом.

Картина 3. Семнадцатая попытка

Усадил ребенка профилем к камере. Подождав, пока прекратится обычное в таких случаях брыканье ножками, снял колпачок с объектива. Маленький негодяй мгновенно откинул голову назад, — к счастью, только на дюйм, поскольку голова уперлась в нос няньки, на чем дитя успокоилось, посчитав, что правило «до первой крови» (если пользоваться спортивной терминологией) успешно соблюдено. Совершенно естественно, что в результате на снимке получилось *два* глаза, нечто, что можно было бы назвать носом, и неестественно широкий рот. Назвал это произведение, соответственно, портретом анфас, после чего последовала...

Картина 4

Три юные девицы, каковыми бы они выглядели, если бы по какой-нибудь случайности можно было бы в тот же момент каждой из них выдать по лошадиной дозе слабительного, связать всю троицу за волосы и держать так до тех пор, пока с их лиц не сойдет выражение, произведенное лекарством. Разумеется, я сохранил мнение на данную тему при себе и просто сказал, что «это напоминает мне картину с тремя грациями», однако фраза перешла в невольный стон, который мне с величайшим трудом удалось замаскировать судорожным кашлем.

Картина 5

Предполагалось, что этот снимок увенчает труды всего дня как великий художественный триумф: групповая семейная фотография, с участниками, расставленными по местам усилиями обоих родителей, и сочетающая семейные мотивы с аллегорическими. Согласно замыслу, она должна представлять младенца, на которого объединенными усилиями детей постарше возлагается корона из цветов, под руководством отца и под личным наблюдением матери; под всем этим скрывался подспудный смысл: «Победа, передающая свою лавровую корону Невинности с Решимостью, Независимостью, Верой, Надеждой и Милосердием, помогающими ей в этой благородной миссии, в то время как Мудрость благосклонно взирает на них и одобрительно улыбается!» Таков, я повторяю, был *замысел*; результат же для любого непредвзятого наблюдателя допускал лишь одну интерпретацию — что младенца хватил родимчик; что мать (несомненно, находясь под влиянием каких-нибудь ошибочных представлений о принципах человеческой анатомии) пытается вернуть малютку к жизни, приводя его макушку в соприкосновение с грудью; что два мальчика, не видя никаких перспектив в отношении младенца, кроме неминуемой гибели, выдирают пряди из его волос на память об этом роковом событии; что две девочки ожидают своего шанса вцепиться в волосы младенца и используют это время для того, чтобы удушить третью; и что отец, придя в отчаяние от необычного поведения своей семьи, закололся и сейчас ощупывает себя в поисках карандаша, дабы написать посмертную записку.

Все это время у меня не было случая попросить мою Амелию попозировать для фотографического портрета, но за обедом мне удалось найти такую возможность, и, заведя разговор на тему фотографии в общем, я повернулся к ней и сказал: «Еще до конца дня, мисс Амелия, я надеюсь оказать себе честь прийти к *вам* за негативом».

Мило улыбаясь, она ответила:

— Разумеется, мистер Таббс. Тут неподалеку есть один коттедж, и я хотела бы, чтобы вы попробовали снять его после обеда, а когда вы с ним закончите, я буду в вашем распоряжении.

— Шикарно! Впрочем, я надеюсь, не в полном! — вмешался неуклюжий капитан Фланаган. — Верно, Мели, дорогая?

— Полагаю, что нет, капитан Фланаган, — поспешно, хотя и с большим достоинством произнес я; но, когда имеешь дело с подобным животным, вежливость и такт — лишь пустая трата времени и сил; в ответ он громко загоготал, и мы с Амелией едва сдержались, чтобы не рассмеяться над его недомыслием. Впрочем, она с большим тактом сразу же пресекла его глупый смех, сказав этому медведю:

— Полноте, капитан, мы не должны быть с ним *слишком* суровы! — (Суровы со *мною!* со *мною!* Благослови тебя Боже, Амелия!)

Неожиданное счастье этого мгновения чуть не переполнило мои чувства; слезы едва не брызнули из глаз, когда я подумал: «Мечта всей Жизни достигнута! Я смогу запечатлеть одну из Амелий!» Честно говоря, я почти уверен, что точно опустил-ся бы на колени, дабы поблагодарить ее, если бы

мне не помешала скатерть и если бы я не знал, как трудно будет потом вылезти из-под стола.

Однако ближе к концу обеда я воспользовался возможностью выразить переполнявшие меня чувства: повернувшись к Амелии, которая сидела рядом со мной, я едва успел пробормотать слова: «Сердце, бьющееся в этой груди, исполнено чувств такого сорта...» — когда внезапно наступившее общее молчание помешало мне закончить фразу. Демонстрируя самое восхитительное присутствие духа, она сказала:

— «Торта», вы сказали, мистер Таббс? Капитан Фланаган, могу я побеспокоить вас и попросить отрезать мистеру Таббсу кусочек торта?

— Его уже почти съели, — сообщил капитан, засовывая свою огромную голову чуть не в середину торта, — передать ему блюдо, Мели?

— Нет, сэр! — воскликнул я, одарив капитана таким взглядом, который должен был просто уничтожить его, однако он лишь ухмыльнулся и сказал:

— Только не нужно скромничать, Таббс, мой мальчик, наверняка в буфете еще много осталось.

Амелия смотрела на меня с такой тревогой, что я проглотил свой гнев — и торт.

Обед закончился, и я получил инструкции относительно того, как найти коттедж. Прикрепив к своей камере мешок, используемый для проявки снимков на открытом воздухе, и взвалив аппарат на плечо, я направился к указанному мне холму.

Когда я проходил мимо с треногой на плече, мисс Амелия сидела у окна, занимаясь рукоделием; болван-ирландец околачивался рядом. В ответ на

мой взгляд, исполненный неугасимой любви, она обеспокоенно спросила:

— А вы не возьмете с собой какого-нибудь мальчишку-слугу, чтобы он помог вам нести эту штуку?

— Или осла? — хихикнул капитан.

Я резко остановился и повернулся, чувствуя, что именно сейчас или никогда следует защитить достоинство Мужчины и поставить субъекта на место. *Ей же я просто сказал «спасибо! спасибо!», перемежая слова поцелуями собственной руки; затем, сконцентрировав взгляд на идиоте, стоявшем возле нее, прошипел сквозь стиснутые зубы: «Мы еще встретимся, капитан!»*

— Конечно, я надеюсь, Таббс, — ответил ничего не сообразивший тупица, — ведь ровно в шесть ужин, не забудьте!

Меня пронзила холодная дрожь: только что я чуть было не совершил героический подвиг и... *потерпел неудачу*. Я взвалил камеру на плечо и, во власти мрачных мыслей, двинулся дальше.

Два шага, и я снова стал самим собой; я знал, *ее* глаза смотрят на меня, и поэтому опять зашагал по каменистой дорожке пружинистой поступью. Какое мне дело было в тот момент до всех капитанов на свете? Разве *они* способны поколебать мое душевное равновесие?

Холм находился примерно в миле от дома, и я добрался до него усталый и запыхавшийся. Впрочем, мысли об Амелии меня взбодрили. Я выбрал наилучшую точку для съемки коттеджа, так, что в кадр попадали фермер и корова, бросил один нежный взгляд в направлении далекой виллы и, пробормо-

мотав «Амелия, ради тебя!», снял крышку с объектива. Через 1 минуту 40 секунд я надел ее на место. «Готово! — вскричал я, не в силах сдержать восторг. — Амелия, теперь ты моя!»

Дрожа от нетерпения, я накрыл голову мешком и приступил к проявке. Деревья довольно расплывчатые — не беда! Их немного раскачивал ветер; это будет не слишком заметно. Фермер? Ну, *он* прошел за это время ярд или два, и я должен с сожалением отметить, что у него получилось столько рук и ног!.. — впрочем, ничего страшного! Назовем его пауком, сороконожкой, всем, чем угодно. Корова? Вынужден, хотя и с большой неохотой, признать, что у коровы было три головы, и, хотя такое животное может показаться занятным, живописным его не назовешь. Однако по поводу коттеджа никаких сомнений возникнуть не могло; его дымовые трубы были выше всяких ожиданий, и, «учитывая все в совокупности (подумал я), Амелия будет...».

В этот момент мой мысленный монолог был прерван хлопком по плечу, скорее повелительным, чем наводящим на размышления. Я извлек себя из мешка — нужно ли пояснять, с каким достоинством? — и повернулся к незнакомцу. Это был мужчина крепкого сложения, вульгарный с точки зрения манеры одеваться и отталкивающий с точки зрения выражения лица, да еще с соломиной во рту. Его спутник превзошел его по части этих отличительных особенностей.

— Молодой человек, — начал первый, — вы тут вторглись на частную собственность и должны убраться отсюда, и это безо всяких сомнений. —

Вряд ли стоит упоминать, что я не обратил никакого внимания на эту реплику, а хладнокровно взял бутылку с гипосульфитом натрия и приступил к процессу фиксации изображения; он попытался помешать мне; я сопротивлялся: пластинка с негативом упала и разбилась. Больше я ничего не помню, у меня только лишь сохранилось крайне смутное воспоминание о том, что я кого-то ударил.

Если вы сможете обнаружить в том, что я вам только что прочитал, нечто, что могло бы объяснить мое нынешнее состояние, я буду только рад; но, как я уже отмечал ранее, все, что я могу вам сказать, — это то, что у меня все болит, саднит, ломит и гудит, а как это со мной случилось, не имею ни малейшего понятия.

Пища для ума

Эссе и послания

ПИЩА ДЛЯ УМА

Завтрак, обед, чай; в крайних случаях завтрак, второй завтрак, обед, чай, ужин и стакан чего-нибудь горячего перед сном. Как же мы заботимся о том, чтобы накормить наше везучее тело! А кто из нас делает столько же для ума? И что является причиной такого различного отношения? Неужели тело настолько важнее?

Никоим образом: но от питания тела зависит жизнь, в то время как мы можем продолжать существовать как животные (едва ли как люди), ум будет находиться в чрезвычайно голодном и пренебрегаемом состоянии. Поэтому Природа предусмотрела, чтобы в случае серьезного пренебрежения телом возникали ужасные последствия в виде физического недомогания и боли, которые быстро заставляют нас осознать свою обязанность. При этом некоторые из функций, необходимых для жизни, она выполняет за нас сама, не оставляя нам выбора в этом вопросе. Она бы не добилась ничего хорошего со многими из нас, если бы предоставила нам самим следить за своим пищеварением и кровообращением. «Бог ты мой! — кричал бы кто-нибудь. — Сегодня утром я забыл завести сердце! Подумать только — оно стоит в течение последних

трех часов!» «Я не смогу погулять с тобой сегодня после обеда, — говорил бы вам приятель, — поскольку мне нужно переварить не меньше одиннадцати обедов. Они накопились еще с прошлой недели, потому что мне даже некогда было поесть, а мой врач заявляет, что не отвечает за последствия, если я срочно не наверстаю упущенное!»

Повторяю, нам повезло, что последствия пренебрежения телом можно ясно увидеть и ощутить; и, возможно, для кого-то было бы хорошо, если бы ум был в равной степени видим и осязаем — если бы мы, скажем, могли отнести его к врачу и проверить пульс.

— Слушайте, что это вы делали с этим умом в последнее время? Как вы его питали? Он выглядит бледным, и пульс очень медленный.

— Понимаете, доктор, в последнее время он не очень регулярно питался. Вчера я дал ему много леденцов.

— Леденцов! Каких именно?

— Ну, это была целая куча головоломок, сэр.

— Ага, я так и думал. Теперь хорошенько запомните: если будете продолжать играть в подобные игрушки, испортите ему все зубы, и дело закончится умственным несварением. Я прописываю вам в течение следующих нескольких дней только самое простое чтение. Но смотрите мне! Никаких романов — ни в коем случае!

* * *

Учитывая массу болезненных ощущений, которые многие из нас испытывают при питании тела и его лечении с помощью всевозможных лекарств,

я думаю, стоило бы попытаться переложить некоторые из правил в отношении тела в соответствующие правила для ума. Итак, во-первых, нам следует позаботиться о том, чтобы обеспечить нашему уму *подходящую* пищу. Мы очень быстро узнаем, что подходит нашему телу, а что нет, и без особого труда отказываемся от куска соблазнительного пудинга или пирога, который ассоциируется у нас в памяти с ужасным приступом несварения и чье самое название неодолимо вызывает мысль о ревене и магнезии; но требуется чрезвычайно много уроков, чтобы убедить нас в том, насколько неперевариваемы некоторые из любимых нами жанров, и мы снова и снова употребляем в пищу нездоровый роман, за которым наверняка последует свойственный ему шлейф плохого настроения, нежелание работать, усталость существования — по сути дела, умственный кошмар.

Затем нам следует позаботиться о том, чтобы обеспечить эту полезную пищу в *соответствующих количествах*. Умственное обжорство, или перечтение, — это опасное пристрастие, ведущее к ослаблению пищеварительной способности, а в некоторых случаях — к потере аппетита; мы знаем, что хлеб — это хорошая и полезная пища, но кому бы захотелось провести эксперимент и съесть две или три буханки в один присест?

Я слышал, как один врач говорил своему пациенту, который жаловался всего лишь на обжорство и недостаток движения, что «наиболее ранним симптомом избыточного питания является отложение адипозной¹ ткани», и, несомненно, эти замеча-

¹ Жировой.

тельные, но не очень понятные слова невероятно утешили беднягу, изнемогающего под все увеличивающейся массой жира.

Я задаюсь вопросом: а существует ли такая вещь, как ОЖИРЕВШИЙ УМ? Мне в самом деле кажется, что я встречался с одним или двумя образчиками: с умами, которые не могли поспеть за самой медленной рысцой в разговоре; не могли перепрыгнуть через логический барьер, чтобы спасти свою жизнь; всегда прочно застревали в тупике спора; и, короче говоря, не годились ни на что другое, кроме как беспомощно ковылять по миру.

* * *

Кроме того, опять-таки, даже если пища полезна и присутствует в соответствующем количестве, мы знаем, что не должны поглощать *слишком много ее разновидностей одновременно*. Дайте жаждущему кварту пива, или кварту сидра, или даже кварту холодного чая, и он, вероятно, поблагодарит вас (хотя не так искренне в последнем случае!). Но как, по-вашему, каковы будут его чувства, если вы предложите ему поднос, на котором стоит маленькая кружечка пива, маленькая кружечка сидра, кружечка холодного чая, горячего чая, кофе, какао и соответствующие сосуды с молоком, водой, бренди с содовой и пахтой?

После того как мы выяснили нужную разновидность, количество и ассортимент нашей умственной пищи, остается, чтобы мы проследили за тем, чтобы между ее приемами имелись *соответствующие интервалы*, и не проглатывали еду поспешно,

не пережевывая, а старались, чтобы она была полностью переварена; и оба эти правила в отношении тела также применимы к уму.

Во-первых, в том, что касается интервалов: они точно так же необходимы для ума, как и для тела, с той лишь разницей, что, если телу требуется трех- или четырехчасовой отдых, прежде чем оно готовится к еще одному приему пищи, ум во многих случаях обойдется всего тремя-четырьмя минутами. Я полагаю, что требуемый интервал гораздо короче, чем обычно принято считать, и по личному опыту рекомендовал бы любому, кому приходится посвящать несколько часов кряду одному предмету мысли, испытать на себе эффект от такого перерыва, скажем, один раз в час, каждый раз отвлекаясь всего на пять минут, но следя за тем, чтобы совершенно «выключить» ум на эти пять минут и всецело обратить его на другие предметы. Поразительно, какой заряд и гибкость приобретает ум во время этих коротких периодов отдыха.

Что касается пережевывания пищи, то соответствующий умственный процесс — это просто *размышление* над тем, что мы читаем. Здесь требуется гораздо большее усилие ума, чем просто пассивное пропускание через себя содержания книги. Это настолько большее усилие, что, как говорит Кольридж, ум часто «сердито отказывается» утруждать себя подобными хлопотами, — настолько большее, что мы слишком склонны вовсе им пренебречь и продолжаем наваливать непережеванную пищу на непереваренные массы, которые уже лежат там, пока несчастный ум практически не тонет в потоке

информации, превращаясь в болото. Но чем больше усилие, тем более ценен эффект, в этом можно не сомневаться. Один час вдумчивого размышления над предметом (прогулка в одиночестве — такая же хорошая возможность для этого процесса, как и любая другая) стоит целых двух или трех прочтений. И подумайте только о еще одном эффекте тщательного переваривания книг: я имею в виду организацию и, так сказать, «раскладывание по полочкам» предметов в наших умах, так, что мы можем сразу же обратиться к ним, когда они нам нужны. Сэм Слик говорит нам, что он за свою жизнь выучил несколько языков, но у него как-то «не получилось их рассортировать» в своем уме. И многие умы, которые спешат от книги к книге, не останавливаясь, чтобы что-нибудь переварить или рассортировать, попадают в ту же самую ситуацию, и несчастный владелец обнаруживает, что на самом деле далеко не готов подтвердить ту репутацию, которая сложилась о нем у его знакомых.

«Основательно начитанный человек. Вот попробуйте испытать его в любой области. Вам не удастся поставить его в тупик».

Вы обращаетесь к основательно начитанному человеку. Вы задаете ему вопрос, скажем, по истории Англии (предполагается, что он только что закончил читать Маколея). Он добродушно улыбается, пытается напустить на себя такой вид, словно он все об этом знает, и начинает рыться в глубинах памяти, стараясь выудить ответ. В качестве улова предлагается горстка весьма обещающих фактов, но на поверку оказывается, что они относятся не

к тому столетию, и их отправляют обратно. Следующая закидка приносит один факт, гораздо более похожий на то, что нужно, но, к несчастью, вместе с ним на поверхность всплывет спутанный клубок других сведений — один факт из области политической экономии, арифметическое правило, возраст детей его брата и стихотворение Грея «Элегия», — и среди всего этого нужный ему факт оказывается безнадежно перекрученным и запутанным. Тем временем все присутствующие ждут от него ответа, и, по мере того как молчание становится все более и более неловким, наш начитанный *друг* вынужден заикающимся голосом пролепетать наконец какой-то полуответ, далеко не такой ясный и удовлетворительный, какой мог бы дать обычный школьник. И все это из-за того, что он не собрал свои знания в соответствующие пакеты и не разложил их по полочкам.

Вы можете распознать несчастную жертву неразумного умственного питания, когда видите ее перед собой? Вы можете заподозрить такого человека? Посмотрите, как он тоскливо бродит по читальному залу, пробуя блюдо за блюдом, — просим у него прощения, книгу за книгой, — и ни на одной не задерживаясь. Сначала кусочек романа; но нет, тьфу! он не ел ничего, кроме романов, в течение всей прошлой недели, и их вкус ему прилично надоел. Затем ломтик чего-нибудь научного; но вы сразу знаете, каков будет результат, — естественно, слишком крепкая штука для *его* зубов. И так далее — повторяется все тот же утомительный круг, который он тщетно пытался проделать вчера (и ко-

торый, вероятно, попытается тщетно повторить завтра).

Мистер Оливер Уэнделл Холмс в своей очень забавной книге «Профессор за завтраком» дает следующее правило, позволяющее определить, молод человек или стар: «Главный критерий таков: предложите испытуемому за десять минут до обеда пухлую булочку. Если она с легкостью принята и поглощена, факт молодости можно считать установленным». Он говорит нам, что человек, «если он молод, съест все что угодно в любое время дня и ночи».

Чтобы выяснить, здоров ли *умственный* аппетит человеческого животного, дайте ему в руки короткий, хорошо написанный, но не захватывающий трактат о каком-нибудь популярном предмете — умственную *булочку*, собственно говоря. Если он будет прочитан с живым интересом и полным вниманием и *если читатель сможет ответить потом на вопросы по этой теме*, его ум находится в отличном рабочем состоянии. Если он вежливо отложит его в сторону или, возможно, лениво пролистает в течение нескольких минут, а потом скажет: «Я не могу читать эту глупую книжонку! Не могли бы вы дать мне второй том „Загадочного убийства“?» — вы можете быть в равной степени уверены, что у него что-то не в порядке с умственным пищеварением.

Если эта статья дала вам какие-нибудь полезные советы на важнейшую тему чтения и помогла увидеть, что «читать, брать на заметку, узнавать и переваривать внутри себя» хорошие книги, которые вам попадают, — это не только интересно, но и необходимо, — тогда ее цель достигнута.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ЭТИКЕТУ, или КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ЗВАННЫХ ОБЕДАХ

Как люди, обслуживающие общественные вкусы, мы можем искренне рекомендовать эту книгу всем, кто часто обедает вне дома и совершенно незнаком с правилами поведения в обществе. Какое бы сожаление мы ни испытывали в связи с тем, что автор ограничился скорее предупреждениями, нежели советами, мы обязаны по всей справедливости отметить, что ничто из того, что здесь изложено, не будет противоречить манерам, принятым в лучших домах. Нижеследующий пример демонстрирует глубину проникновения в тему и полноту опыта, которые встречаются весьма редко.

1

Направляясь в столовую, джентльмен предлагает одну руку даме, которую он сопровождает, — предлагать обе руки не принято.

2

Практика поедания супа из одной тарелки с сидящим напротив джентльменом в настоящее время устарела; но обычай спрашивать у хозяина его

мнение о погоде сразу после того, как унесли первую перемену блюд, все еще сохраняется.

3

Практика поедания супа вилкой, с одновременным нашептыванием хозяйке на ухо, что ложку вы припасли для бифштекса, полностью вышла из употребления.

4

Когда перед вами стоит блюдо с мясом, ничто не может помешать вам его съесть, если вы чувствуете к этому склонность; тем не менее во всех таких деликатных случаях руководствуйтесь исключительно поведением окружающих.

5

Всегда допустимо попросить, чтобы вам подали к вареной оленине артишоковое желе; однако существуют дома, где этого не подают.

6

Метод накладывания жареной индейки с помощью двух вилок для раздачи мяса практичен, но лишен изящества.

7

Мы не рекомендуем практику поедания сыра с ножом и вилкой в одной руке и ложкой и бокалом вина в другой; это действие сопряжено с определенной долей неудобства, до конца избавиться от которого не поможет никакое количество тренировок.

8

В качестве общего правила: не пинайте под столом джентльмена, сидящего напротив, если вы лично с ним не знакомы; ваша комическая выходка может быть неправильно понята — обстоятельство, во все времена неприятное.

9

Поднятие тоста за здоровье мальчика-посыльного сразу после того, как убрали скатерть, — это обычай, скорее рожденный уважением к его нежному возрасту, чем строгим соблюдением правил этикета.

ВИЗИТ К ТЕННИСОНУ

Ч. Ч., 11 мая 1859 г.

Мой дорогой Уильям, я уже некоторое время раздумываю о том, чтобы написать тебе отчет о моем посещении острова Уайт, однако сомневался, достаточно ли у меня новостей, чтобы стоило тратить на это время; но теперь, когда ты сам этого попросил, ты должен сказать спасибо за то, что узнаешь, интересно это или нет, — поистине «bis dat qui cito dat»¹. (Мне кажется, эта цитата некоторым образом уместна в данном случае.) У., должно быть, подло искажил мои слова, если сказал, что я последовал за лауреатом² в его убежище, поскольку я поехал, не зная, что он там, собираясь погостить у старого приятеля по колледжу в Фрешуотере. Находясь там, я, как любой свободнорожденный британец, имел неотъемлемое право нанести утренний визит, что и сделал, несмотря на то что мой друг Коллинз заверил меня, что Теннисоны еще не приехали. Когда я подошел к дому, там был какой-то человек,

¹ Вдвойне дает тот, кто дает быстро (*лат.*).

² В 1851 г. Теннисон получил должность и звание «поэта-лауреата», то есть придворного поэта.

красивший садовую ограду, которого я спросил, дома ли мистер Теннисон, ожидая, что он мне ответит «нет», поэтому для меня было приятным сюрпризом, когда он сказал: «Он здесь, сэр», — и показал на него, и вот! он был неподалеку, подстригал свою лужайку, в широкополой шляпе и очках. Мне пришлось представиться, поскольку он слишком близорук, чтобы самостоятельно узнавать людей, и когда он закончил свои дела, то отвел меня в дом поздороваться с миссис Теннисон, которая, как я с большим сожалением узнал, была очень больна и в этот момент страдала от почти полной бессонницы. Она лежала на диване и выглядела довольно усталой и изможденной, поэтому я побыл с ней буквально несколько минут. Она пригласила меня прийти вечером на ужин, где должен был присутствовать мистер Уорбертон (брат из «Полумесяца и Креста»), но ее муж отменил это приглашение перед моим уходом, сказав, что хочет, чтобы вечером она поменьше волновалась, и упрашивал, чтобы я зашел к ним вечером на чай, а на следующий день и пообедал с ними. Он провел меня по дому, показывая картины и проч. (среди которых «на струне» висели и мои фотографии этой семьи, в рамках из этих эмалированных, как ты их называешь, картонках?). Вид из окон мансарды он считает одним из самых прекрасных на острове: еще он показал мне картину, которую написал для него его друг Ричард Доил; также маленькую курительную комнату в верхней части дома, где он, естественно, предложил мне выкурить трубку; еще показал детскую, где мы обнаружили красивого маленького Халла-

ма (его сына), который вспомнил меня быстрее, чем его отец.

Я пришел вечером; мистер Уорбертон показался мне очень приятным человеком с довольно робкими, нервными манерами; он священник и школьный инспектор в этом округе. Вечером мы затронули тему обязанностей священнослужителя, и Теннисон сказал, что, по его мнению, священники как сообщество не приносят и половины той пользы, которую могли бы приносить, будь они менее высокомерны и проявляй больше сочувствия своей пастве. «Чего им не хватает, — сказал он, — так это силы и доброты, — доброта без силы, разумеется, ни к чему хорошему не приведет, но сила без доброты мало что даст». Весьма здравая теологическая мысль, по моему мнению. Это все происходило в маленькой курительной, куда мы перешли после чая и где провели около двух часов в очень интересной беседе. Везде лежали корректурные оттиски «Королевской идиллии», но он не позволил мне посмотреть. Я с некоторым любопытством отметил, какого рода книги занимают нижнюю из поворачивающихся книжных полок, чрезвычайно удобных для работы за письменным столом; все они, без исключения, были на греческом или на латыни — Гомер, Эсхил, Гораций, Лукреций, Вергилий и проч. Стоял прекрасный лунный вечер, и, когда я уходил, Теннисон прошелся со мной по саду и обратил мое внимание на то, как луна светит сквозь тонкое белое облако, — эффект, который я раньше никогда не замечал: нечто вроде золотого кольца, но не близко к краю, как ореол, а на некотором расстоянии.

Если не ошибаюсь, моряки считают это приметой, сулящей плохую погоду. Он сказал, что часто замечал его, и упомянул это явление в одном из своих ранних стихотворений. Ты можешь найти его в «Маргарет»¹.

На следующий день я пришел к ним на ужин и встретил сэра Джона Симеона, поместье которого находится в нескольких милях от дома Теннисонов; это пожилой местный обитатель, который позднее перешел в Римско-католическую церковь. Это один из самых приятных людей, которых мне доводилось встречать, и ты можешь представить себе, что вечер был просто замечательный: я получил от него исключительное удовольствие; особенно приятны были заключительные два часа в курительной комнате.

Я достал свой альбом с фотографиями, но мистер Теннисон слишком устал и не стал их смотреть этим же вечером, поэтому я договорился, что оставлю их и приду за ними на следующее утро, когда можно будет увидеть и остальных его детей, которых я только мельком видел во время ужина.

Теннисон рассказал нам, что часто, ложась спать после работы над тем или иным своим сочинени-

¹ Это явление упоминается в следующих строках:

The very smile before you speak,
That dimples your transparent cheek,
Encircles all the heart, and feedeth
The senses with a still delight
Of dainty sorrow without sound,
Like the tender amber round.
Which the moon about her spreadeth.
Moving through a fleecy night.

ем, он видел во сне длинные поэтические отрывки («А вам, я полагаю, — поворачиваясь ко мне, — снятся фотографии?»), которые ему очень нравились, но которые он полностью забывал, когда просыпался. Одним из них было невероятно длинное стихотворение о феях, в котором строки, вначале очень длинные, постепенно становились все короче и короче, пока в конце концов стихотворение не закончилось пятьюдесятью или шестьюдесятью строками, каждая длиной в два слога! Единственный кусочек, который ему удалось вспомнить в достаточной мере, чтобы записать на бумаге, приснился ему в возрасте десяти лет, и, возможно, ты хотел бы его иметь в качестве настоящего неопубликованного фрагмента одного из произведений лауреата, хотя, думаю, ты со мной согласишься, что в нем мало что указывает на его будущую поэтическую мощь:

Может ли мышка в норе
Написать письмо горе?
Надеюсь, вам не в обузу
Моя детская муза.

Когда мы сидели в курительной, разговор перешел на убийства, и Теннисон рассказал нам несколько ужасных историй из реальной жизни: похоже, он склонен получать большое удовольствие от такого рода описаний; чего не скажешь, если судить по его поэзии. Сэр Джон любезно предложил подвезти меня до гостиницы в своем экипаже, и, когда мы уже стояли у двери, собираясь сесть, он сказал: «Вы ведь не возражаете против сигары в экипаже,

не правда ли?» На что Теннисон ворчливо заметил: «Он не возражал против *двух трубок* в моем маленьком кабинете наверху и *априори* не имеет никакого права возражать против одной сигары в экипаже». И вот так закончился один из самых восхитительных вечеров за последнее — довольно долгое — время. На следующий день я пообедал у них, но самого Теннисона видел очень мало, а потом показывал фотографии миссис Теннисон и детям, не преминув получить автограф Халлама большими жирными печатными буквами под его портретом. Дети настояли на том, чтобы читать вслух поэтические подписи под картинами и фотографиями, и, когда они дошли до портрета своего отца (на котором в качестве девиза было написано: «Поэт, в златом краю рожденный» и т. д.), Лайонел какое-то мгновение молчал, озадаченно глядя на него, а потом отважно начал: «Папа римский!..», после чего миссис Теннисон начала смеяться, а Теннисон прорычал с противоположной стороны стола: «Эй! что там такое насчет папы?» — но никто не отважился объяснить аллюзию.

Я попросил миссис Теннисон объяснить мне «Даму из Шалотта», которую толкуют совершенно по-разному. Она сказала, что оригинальная легенда написана на итальянском и что Теннисон передал ее в том виде, в каком она к нему попала, поэтому вряд ли справедливо ожидать от него, чтобы он еще и предоставил интерпретацию.

Кстати, как ты считаешь, эти строки в «Таймс», озаглавленные «Война» и подписанные «Т.», принадлежат Теннисону? Я здесь поспорил с одним

знакомым, что нет, и собираюсь попытаться это выяснить. Похоже, что многие считают, что все-таки они написаны им...

Это все на настоящий момент от преданного тебе кузена

Чарльза Л. Доджсона.

P. S. Без пяти три ночи! Вот что бывает, когда начинаешь писать письма за полночь.

ВИВИСЕКЦИЯ КАК СИМВОЛ НОВЫХ ВРЕМЕН

Редактору «Пэлл-Мэлл газетт»

Сэр, письмо, которое появилось в последнем номере «Спектейтора» и которое, должно быть, удручило сердце каждого, кто его читал, судя по всему, заставляет поставить вопрос, которого еще не задавали и на который еще никто не ответил с достаточной ясностью, а именно: насколько можно рассматривать вивисекцию в качестве символа новых времен и достойного образчика той высшей цивилизованности, которую должно дать нам чисто светское государственное образование? В лице этой многовосхваляемой панацеи от всех человеческих зол нам обещают не только обогащение наших знаний, но также более высокие моральные качества; любые сиюминутные сомнения по этому вопросу, которые могут у нас возникнуть, сразу успокаивают, приводя в пример Германию. Силлогизм, если он заслуживает такого названия, обычно формулируется таким образом: Германия имеет более высокое образование, чем Англия; в Германии более низкий средний уровень преступности, чем в Англии; ergo¹, научное образование имеет тенденцию улуч-

¹ Следовательно (*лат.*).

шать нравственное поведение. Какой-нибудь старомодный логик, возможно, прошептал бы про себя: «*Praemissis particularibus nihil probatur*», но такое замечание теперь, когда Олдрич вышел из моды, вызвало бы только снисходительную улыбку. Можем ли мы в таком случае рассматривать практику вивисекции в качестве законного плода или аномального результата развития этого более высокого нравственного поведения? Является ли анатом, который может равнодушно созерцать агонию, которую он причиняет для не более высокой цели, нежели удовлетворение научного любопытства, или для иллюстрации какой-либо устоявшейся истины, существом более высшим или более низшим на шкале человечества, чем невежественный мужлан, самая душа которого содрогнулась бы при виде этого ужасного зрелища? Ибо если когда-либо существовал более убедительный аргумент в пользу чисто научного образования, чем какой-либо другой, то это наверняка следующий (несколько лет назад его можно было вложить в уста любого поборника науки; сейчас он выглядит просто насмешкой): «Что может так же действительно научить благородному качеству милосердия, восприимчивости ко всем формам страдания, как знание того, что такое есть настоящее страдание? Может ли человек, который однажды осознал путем подробного изучения, что такое нервы, что такое мозг и какие волны агонии первые могут передать второму, взять и умышленно причинить боль какому-либо чувствующему существу?» Некоторое время назад мы могли бы с уверенностью ответить: «Он не мо-

жет этого сделать»; в свете современных открытий мы должны с грустью признаться: «Он может». И пусть никто не говорит, что это делается после серьезного учета соотношения боли и пользы; что оператор говорит себе в оправдание: «Боль — это действительно зло, но такое большое страдание можно вполне выдержать ради такого большого знания». Когда я услышу, как один из этих рьяных искателей истины подвергает не беззащитное глупое животное, которому он говорит фактически: «Ты будешь страдать ради того, чтобы я смог узнать», но себя самого воздействию зонда и скальпеля, тогда я поверю, что он признает принцип справедливости, и буду уважать его как человека, действующего согласно своим принципам. «Но ведь это невозможно!» — воскликнет какой-нибудь благожелательный читатель, только что побывавший на приеме у самого очаровательного из людей, лондонского врача. «Что! Неужели возможно, чтобы человек, такой мягкий и обходительный, настолько исполненный благородных чувств, мог быть жестокосердным? Сама мысль эта возмутительна для здравого смысла!» И так нас обманывают каждый день на протяжении всей жизни. Неужели возможно, чтобы этот директор банка с его открытым честным лицом мог задумывать мошенничество? Что председатель этого собрания акционеров, в каждой нотке голоса которого звучит правда, мог бы держать в своей руке «сфабрированный» реестр задолженности? Что мой торговец вином, такой искренний, такой открытый человек, мог бы продавать мне фальсифицированный товар? Что школьный

учитель, которому я доверил своего маленького сына, может уморить его голодом или не обращать на него внимания? Как хорошо я помню его слова, обращенные к милому ребенку, когда мы расставались в последний раз. «Ты покидаешь своих друзей, — сказал он, — но ты найдешь себе отца в моем лице, мой милый, и мать в лице миссис Сквиерс!» Для всех подобных розовых мечтаний об очевидном иммунитете образованных людей к человеческим порокам факты, изложенные на прошлой неделе в «Спектейторе», имеют ужасное значение: «Доверяй человеку настолько, насколько хорошо его знаешь», как будто говорят они. «Qui vult decipi, decipiatur»¹.

Позвольте мне процитировать несколько фраз, сказанных одним современным писателем на эту тему:

«В настоящий момент мы, законодательные органы и народ, активно способствуем осуществлению планов, исходящих из постулата, что поведение предопределяется не чувствами, но знаниями. Ибо на чем еще основаны настойчивые призывы различных организаций, поддерживающих развитие образования? Какова первоидея, общая для антиклерикалистов и представителей различных конфессий, если не идея о том, что распространение знаний — это единственная вещь, необходимая для улучшения поведения? После того как они усвоили определенные заблуждения, основанные на статистических данных, у них выросла вера в то, что

¹ Тот, кто желает быть обманутым, пусть будет обманут (лат.).

государственное образование будет сдерживать дурные поступки... Эта вера в исправляющее воздействие интеллектуальной культуры, совершенно противоречащая фактам, абсурдна априори... Эта вера в учебники и лекции — одно из суеверий нашего века... Не с помощью наставлений, пусть даже выслушиваемых ежедневно; не с помощью примера, если только ему не будут следовать; но только с помощью действия, часто вызываемого связанным с ним чувством, можно сформировать нравственную привычку. И тем не менее эта истина, которой явственно учит психиатрическая наука и которая согласуется с хорошо знакомыми изречениями, полностью игнорируется нынешними течениями образовательного фанатизма».

Моего одобрения не нужно, чтобы рекомендовать вниманию всех мыслящих читателей эти слова Герберта Спенсера. Их можно найти в его «Науке социологии» (с. 361–367).

Однако давайте отдадим справедливость науке. Ей не так уж недостает, как хотел бы внушить нам мистер Герберт Спенсер, принципов действия — принципов, с помощью которых мы можем регулировать наше поведение в жизни. Я лично однажды слышал, как один человек, достигший высот в науке, заявлял, что из своих трудов извлек один особенный личный урок, который более чем все остальные он принял близко к сердцу. Детальное изучение нервной системы и различных форм боли, вызываемой ранами, заставило его принять одно глубокое решение; и решением этим было — что вы думаете? — никогда, ни при каких обстоятельствах не

рисковать своей собственной персоной, отправляясь на поле боя! Я прочитал в какой-то книге — боюсь, довольно устарелой, которая сильно дискредитирована с точки зрения современных взглядов, — слова: «Все живое стонет и страдает и поныне». Воистину сегодня мы читаем в этих словах новый смысл! «Стонет и страдает» оно, вне сомнения, и до сих пор (больше, чем когда-либо, в том, что касается животных), но для чего? Для достижения какого-то более высокого и более выдающегося состояния? Так можно было бы сказать несколько лет назад. Но не в наши дни. Τέλος; τέλειου светского обучения, оторванное от религиозного или нравственного воспитания, — это — я говорю это намеренно — чистейший и самый вопиющий эгоизм. Мир видел поклонение Природе, Разуму, Гуманности и устал от них; нашему девятнадцатому столетию суждено испытать расцвет самой изощренной религии из всех — поклонение себе самому. Ибо это действительно венец всего, что было доселе. Порабощение братьев слабейших — «труд тех, кто не получает удовольствия, для удовольствия тех, кто не трудится», — деградация женщины — пытки животного мира — это ступени лестницы, по которой человек поднимается к своей более высокой цивилизованности. Эгоизм — это основной принцип всего чисто светского образования; и я рассматриваю вивисекцию как вопиющий, очевидный этому пример. И не нужно думать, что это зло сможет породить добро, ради которого нас просят примириться с ним и затем оставить в прошлом. Это зло, которое имеет тенденцию к постоянному распростра-

нению. И если сейчас с ним примириться или даже сделать вид, что мы его не замечаем, век всеобщего образования, когда науки, и среди них анатомия, станут достоянием всех, будет возведен криком боли, издаваемым животным творением, который разнесется по всей земле! Таково славное будущее, к которому может стремиться поборник светского образования, рассвет, который озаряет золотой каймой горизонт его надежд! Век, когда все формы религиозной мысли станут достоянием прошлого; когда химия и биология станут азбукой государственного образования, навязанного всем; когда vivisection будет практиковаться в каждом колледже и в каждой школе; и когда человек науки, окидывая взглядом мир, над которым не будет иной власти, кроме его собственной, будет восторгаться мыслью о том, что он сделал из этой прекрасной зеленой земли если не рай для людей, то, по крайней мере, ад для животных.

Остаюсь

Вашим покорным слугой,

Льюис Кэрролл.

10 февр.

НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВИВИСЕКЦИИ

В такое время, когда эта болезненная тема привлекает столь значительное общественное внимание, я полагаю, не нужно извиняться за следующую попытку сформулировать и классифицировать некоторые из множества заблуждений, каковыми они мне представляются, с которыми я встретился в сочинениях тех, кто выступает за эту практику. Нельзя оказать бóльшую услугу делу истины в этой исключительно спорной области, чем привести эти туманные, неосязаемые фантомы в определенные формы, которые можно увидеть, которые можно осязать и к которым, когда они будут справедливо изложены, нам не нужно будет возвращаться во второй раз.

Я начну с двух противоречащих друг другу суждений, составляющих, судя по всему, две противоположности, между которыми содержится золотая середина истины.

1. *Что причинение боли животным — это право человека, не нуждающееся в оправданиях.*

2. *Что оно не оправданно в каком бы то ни было случае.*

Первое из них допускается на практике многими, кто едва ли рискнул бы возмутить общие чувства человечества, заявив об этом прямо. Все, кто понимает разницу между правильным и неправильным, если вопрос поставить ребром, должны признать, что причинение боли в некоторых случаях неправильно. Тех, кто это отрицает, вряд ли переубедят аргументы. Ибо из чего мы исходим? Из того, что они, как дикие животные, должны быть обузданы физической силой.

Второе суждение допускается одной из ассоциаций, недавно образованной для полного запрещения вивисекции, в чьем манифесте она поставлена в одну категорию с рабством как воплощение абсолютного зла, с которым нельзя прийти ни к какому соглашению. Думаю, я могу предположить, что наиболее общее допускаемое суждение — это промежуточное, а именно что причинение боли в некоторых случаях оправданно, но не во всех.

3. Что наше право причинять боль животным равнообъемно с нашим правом убивать или даже истреблять определенный вид (который мешает существованию других животных), поскольку все это нарушение их прав.

Это одно из самых распространенных и самых обманчивых заблуждений. Мистер Фримен в своей статье об охоте, рыбной ловле и вивисекции, которая появилась 8 мая 1874 г. в «Фортнайтли ревью», судя по всему, поддерживает эту теорию, когда ставит смерть и боль в одну категорию, словно они признаются равнозначными. Например:

«В таком случае под жестокостью я понимаю, так же как и ранее, не всякое причинение смерти

или страданий человеку или животному, но их неправомерное или ненужное причинение... Таким образом, я имею две позиции. Первая — что определенные случаи причинения смерти или страданий животным могут заслуживать порицания. Вторая — что всякое причинение смерти или страданий только лишь со спортивными целями является одним из таких случаев».

Но чтобы отдать должное мистеру Фримену, мне следует также привести следующее высказывание, в котором он занимает противоположную точку зрения: «Я должен во всех случаях провести широкое различие между простым умерщвлением и пытками».

При обсуждении «прав животных» я думаю, что могу пропустить как ненуждающееся в комментариях так называемое право вида животных на существование и еще более туманное право несуществующего животного на появление. Единственный вопрос, заслуживающий обсуждения, состоит в том, является ли убийство животного действительным нарушением права. Если допустить это, то неизбежно возникает *reductio ad absurdum*¹ (если только мы не будем достаточно нелогичны, чтобы наделить животных правами пропорционально их размерам). Нам никогда не будет позволено уничтожить, для нашего удобства, некоторых щенков из помета; или открыть два десятка устриц, если достаточно и девятнадцати; или зажечь свечу летним вечером ради простого удовольствия, паче чаяния какой-нибудь

¹ Сведение к абсурду (*лат.*).

несчастный мотылек найдет в ней безвременный конец! Нет, нам даже нельзя будет отправиться на прогулку, грозящую неминуемой гибелью под нашими ногами множеству насекомых, если только нас не вынуждает к этому срочное дело! Конечно же, все это детские рассуждения. Совершенно отчаяваясь провести где-либо линию раздела, я делаю вывод (и полагаю, что многие, подумав над этим вопросом, согласятся со мной), что человек обладает абсолютным правом причинять смерть животным, без объяснения каких-либо причин, при условии, что смерть эта будет безболезненной, однако любое причинение боли требует особых оправдывающих обстоятельств.

4. Что человек бесконечно более важен, чем низшие животные, и поэтому причинение животным страданий, как бы велики они ни были, оправданно, если таким образом можно предотвратить страдания человека, какими бы незначительными они ни были.

Это заблуждение можно поддерживать, только пока оно остается неозвученным. Выразить его словами — это почти что опровергнуть его. Мало кто, даже в век, когда эгоизм практически превратился в религию, осмелится открыто признаться в настолько отвратительном эгоизме! В то же время, я думаю, существуют тысячи людей, которые были бы готовы заверить вивисекторов, что в том, что касается их личных интересов, они готовы отказаться от любых перспектив на уменьшение боли, если этого можно достичь только за счет причинения такой же боли невинным существам.

Но у меня имеются и более серьезные обвинения против людей науки, которые делают такое допущение, чем обвинение в эгоизме. Они используют его бесчестно, признавая его только тогда, когда оно говорит в их пользу, и игнорируют, когда оно свидетельствует против них. Ибо разве эта посылка не включает в себя аксиому о том, что страдания человека и страдания животных различаются по своим *характеристикам*? Странно слышать такое предположение из уст людей, которые говорят нам, что человек — брат-близнец обезьяны! Пусть, по крайней мере, будут последовательны, и, если уж они доказали, что уменьшение человеческих страданий — это настолько великая и выдающаяся цель, что оправдывает любые меры, которые позволяют ее достичь, пусть они дадут человекообразной обезьяне право представить свои аргументы.

Если бы только у них хватило объективности и смелости это сделать, я полагаю, они бы выбрали другую часть дилеммы и ответили: «Да, человек принадлежит к той же категории, что и животное; и точно так же, как нам безразлично (вы это видите, поэтому мы не можем этого отрицать), сколько боли мы причиняем одному, нам точно так же безразлично — за исключением случаев, когда нас удерживает от этого страх перед наказанием закона, — сколько боли мы причиняем другому. Стремление к научному знанию — наш единственный руководящий принцип. Уменьшение человеческих страданий — просто пустышка, придуманная для того, чтобы обмануть сентиментальных мечтателей».

Теперь я подхожу к еще одной разновидности заблуждений — тех, что связаны со сравнением, ко-

торое так часто проводят между вивисекцией и охотой. Если бы теория о том, что эти две сферы в значительной степени схожи, была связана всего лишь с выводом о том, что все, кто осуждает вивисекцию, должны осудить спортивную охоту и рыбную ловлю, я бы никоим образом не стремился бы ее опровергнуть. К сожалению, так же логичен и так же вероятен и другой вывод — что вивисекцию следует одобрять всем, кто одобряет спорт.

Это сравнение основывается на послышке, что главное зло, в котором обвиняют вивисекцию, состоит в боли, причиняемой животным. Эту послышку я намереваюсь далее рассматривать как заблуждение; пока же я признаю его в интересах дискуссии, надеясь показать, что, даже исходя из этой гипотезы, у вивисекции весьма слабые шансы. При использовании этого сравнения их первое утверждение таково:

5. Что справедливо сравнивать совокупное количество боли.

«Совокупное количество несправедливости, — я привожу цитату из статьи в „Пэлл-Мэлл газетт“ от 13 февраля, — которое совершается против животных спортсменами за один год, вероятно, превосходит то, которое животные вынесли от вивисекторов за столетия». Лучшим опровержением этого заблуждения, судя по всему, было бы, если бы мы проследили его до логического вывода: очень большое количество мелких несправедливостей равно одной большой. Например, что человек, который, продавая фальсифицированный хлеб, причиняет незначительный вред здоровью нескольких

тысяч людей и тем самым совершает преступление, равное одному убийству. Стоит только принять это *reductio ad absurdum*¹, и вы будете готовы допустить, что единственное справедливое сравнение может быть только между индивидуумом и индивидуумом.

Предположив, что вивисекторов вынудили оставить эту позицию, они могут тогда отступить на следующую параллель:

6. *Что боль, причиненная отдельно взятому животному вивисекцией, не больше, чем в спортивной охоте.*

Я не спортсмен и поэтому не имею права утверждать категорически, но я почти уверен, что все спортсмены согласятся со мной в том, что это неверно в отношении огнестрельного оружия, в случае с которым, когда животное убито сразу, смерть, вероятно, настолько безболезненна, насколько это вообще возможно; в то время как страдания того животного, которое уходит от охотников раненым, следует вменить в вину неумелым спортсменам, а не спорту абстрактно. Вероятно, многое из этого можно было бы сказать и о рыбной ловле; в отношении других видов спорта, особенно охоты, я не могу ничего предложить в защиту, полагая, что они связаны с очень большой жестокостью.

Даже если бы последние два заблуждения были истолкованы в пользу поборников вивисекции, их использование в споре должно зависеть от истинности следующей посылки:

¹ Доведение до абсурда (*лат.*).

7. Что зло, в котором обвиняют вивисекцию, заключается главным образом в боли, причиняемой животным.

Я же, наоборот, утверждаю, что оно заключается в основном в том воздействии, которое оказывается на того, кто причиняет боль. Говоря словами мистера Фримена в уже цитировавшейся статье, «вопрос состоит не в совокупном количестве причиненных страданий, но в нравственном характере действий, с помощью которых причиняются страдания». Мы видим это совершенно ясно, когда переносим свое внимание от самого действия на его более отдаленные последствия. Несчастное животное страдает, умирает, «и наступает конец», но человек, чье чувство сострадания притупилось и чей эгоизм поощряется созерцанием намеренно причиняемой боли, может стать родителем других, в равной степени озверевших, и таким образом передать по наследству проклятие будущим векам. И даже если мы ограничим свой взгляд настоящим, кто может усомниться в том, что деградация души является еще большим злом, чем страдания телесной оболочки? Даже если их вынудить это признать, поборники этой практики, возможно, все еще будут утверждать —

8. Что вивисекция не оказывает воздействия на нравственные качества вивисектора.

«Посмотрите на наших хирургов! — возможно, воскликнут они. — Разве это безнравственные или озверевшие люди? Тем не менее вы должны признать, что во время операций, которые им приходится проводить, они постоянно созерцают боль — да,

и боль, намеренно причиняемую их собственными руками». Такая аналогия несправедлива; поскольку непосредственный мотив — спасение жизни или уменьшение страданий человека, на котором производится операция, — это противодействующее влияние в хирургии, которой вивисекция, с ее туманной надеждой на то, чтобы в один прекрасный день избавить от страданий какое-то еще не рожденное человеческое существо, не может предложить ничего аналогичного. Однако этот вопрос следует решать с помощью вещественных доказательств, а не аргументов. История дает нам слишком много примеров деградации личности, явившейся результатом безжалостного созерцания страданий. Воздействие боя быков на характер испанцев тому доказательство. Однако нам нет нужды ехать в Испанию, чтобы получить доказательства: следующего отрывка из «Эхо», приведенного в «Спектейторе» за 20 марта, будет достаточно, чтобы дать читателю возможность судить самому, какого рода воздействие эта практика, скорее всего, может оказывать на умы студентов...

«Но если понадобилось бы еще большее, чтобы удовлетворить общественное мнение в отношении последнего вопроса (воздействие на вивисектора), в заключение полезно было бы привести свидетельство знакомого автору английского физиолога. Некоторое время назад он присутствовал на одной лекции, в ходе которой демонстрация производилась на живых собаках. Когда несчастные создания кричали и стонали во время операции, многие из студентов, как это ни удивительно, насмехаясь, пе-

редраживали их крики! Джентльмен, рассказавший об этом случае, добавляет, что вид корчащихся животных и жестокое поведение аудитории вызвали у него такую реакцию, что он не смог дождаться окончания лекции и покинул помещение, испытывая отвращение».

Унизительная, но неопровержимая истина состоит в том, что в человеке есть что-то от дикого зверя, что жажда крови может быть возбуждена в нем, если он становится свидетелем сцены резни, и что причинение пыток, когда инстинктивное ощущение ужаса притупляется из-за привыкания, — могут сначала стать безразличными, затем превратиться в объект нездорового интереса, затем стать источником положительного удовольствия, а затем отвратительной и жестокой радости.

Однако здесь снова аналогия со спортом оказывает вивисектору некоторую услугу, и он может заявить, что то влияние, которого мы так боимся, уже испытывают на себе наши спортсмены. Этот вопрос я сейчас и рассмотрю.

9. Что вивисекция оказывает на личность не более отрицательное воздействие, нежели спорт.

Положение оппонента, я думаю, не сильно пострадало бы, даже если бы это было признано; но я намерен возразить против этого как универсальной истины. Мы должны помнить, что значительная часть возбуждения и интереса, которые дает спорт, зависит от причин, совершенно не связанных с причинением боли, которая скорее игнорируется, чем служит объектом намеренного созерцания, в то время как в вивисекции болезненное воздействие во

многих случаях становится частью интереса, а в некоторых — и всем, что интересует зрителя. И все они говорят нам о высокоразвитом интеллекте ученого-анатома, в противовес которому они с таким презрением ставят низменные животные инстинкты охотника на лис, — это всего лишь еще один аргумент против них самих; ибо, несомненно, чем более благородное существо мы подвергаем деградации, тем более велик вред, который мы причиняем обществу. *Corruptio optimi pessima*¹.

«Но все это совершенно не учитывает мотива поступка! — кричат вивисекторы. — Каков он в спорте? Простое удовольствие. В этом отношении мы занимаем неуязвимую позицию». Давайте посмотрим.

10. *Что, в то время как в спорте мотив в основном эгоистичен, в вивисекции он в основном неэгоистичен.*

Я убежден, что ненаучный мир слишком уж готов приписать поборникам науки все те добродетели, на которые они готовы претендовать; и, когда они выдвигают свой любимый аргумент *ad captandum*², что их труды проводятся во имя одного чистого мотива — блага человечества, — общество слишком готово воскликнуть, вместе с миссис Варден: «Вот кроткий, праведный, бескомпромиссный христианин, который, уронив щепотку соли на хвост всех основных добродетелей и поймав их все, относится несерьезно к тому, что обладает ими, и

¹ Самое худшее падение — падение честнейшего (*лат.*).

² Из желания угодить (*лат.*).

тоскует о еще большей нравственности!» Другими словами, общество слишком готово принять образ бледного, измученного приверженца науки, посвящающего все свои дни и ночи утомительному и неблагодарному тяжелому труду и движимого никаким иным мотивом, кроме как безграничной филантропией. Как человек, который и сам посвятил много времени и труда научным исследованиям, я желаю высказать самый решительный протест против этой фальшиво разукрашенной картины. Я считаю, что любая сфера науки, когда ею занимается тот, кто имеет к ней природную склонность, вскоре становится такой же увлекательной, как спорт для самого страстного спортсмена или любая форма наслаждения для самого утонченного сластолюбца. Утверждение о том, что усердная работа или стойкость к лишениям доказывают наличие бескорыстного мотива, просто чудовищно. Согласитесь со мной в том, что скряга доказывает свое бескорыстие, когда он ограничивает себя в еде и сне, чтобы добавить еще один кусок золота в свой тайник, что карьерист доказывает свое бескорыстие, когда усердно трудится в течение долгих лет, чтобы добиться своей заветной цели, и я соглашусь с вами, что напряженные научные поиски являются положительным доказательством наличия бескорыстного мотива. Разумеется, я не утверждаю, что даже у отдельно взятого исследователя настоящий мотив заключается лишь в том страстном стремлении к большим знаниям, пусть они будут полезны или бесполезны, которое представляет такой же естественный аппетит, как стремление к новизне или

любой другой форме возбуждения. Я лишь говорю, что более низменный мотив объясняет указанное поведение так же хорошо, как и более высокий.

Тем не менее, в конце концов, весь аргумент, извлеченный из сравнения вивисекции со спортом, основывается на следующей посылке, которую я классифицирую как заблуждение:

11. *Что терпимое отношение к одной форме зла неизбежно влечет за собой терпимость по отношению ко всем другим.*

Согласитесь с этим, и вы просто парализуете все возможные попытки исправить нравы. Как мы можем говорить о том, чтобы положить конец жестокости по отношению к животным, когда пьянство безудержно распространилось в стране? Тогда вы бы предложили издавать законы в интересах трезвости? Позор вам! Посмотрите на непригодные для плавания суда, на которых наши отважные моряки рискуют своей жизнью! Что! Организовать крестовый поход против бесчестных судовладельцев, когда наши улицы кишат населением, растущим в языческом невежестве? Мы можем лишь ответить: *pop omnia possumus omnes*¹. И наверное, человек, который видит свое предназначение в том, чтобы уменьшить в какой-либо степени одно-единственное зло из мириад, окружающих его, может вполне принять близко к сердцу высказывание мудреца древности: «За что бы ни взялась твоя рука, делай это изо всех своих сил».

Последняя параллель, к которой, как можно ожидать, прибегнут поборники вивисекции, если

¹ Не всё мы все можем (*лат.*).

все эти положения будут признаны несостоятельными, — это допущение...

12. *Что законодательные меры только увеличат зло.*

Доводы, если я правильно их понимаю, сводятся к следующему: что законодательство, вероятно, побудит многих к тому, чтобы перейти за грань, которая их в настоящее время удовлетворяет, как только они обнаружат, что правовое ограничение выходит за пределы их собственного. Если принять, что это тенденция, свойственная человеческой природе, то каковы средства, обычно применяемые в других случаях? Более строгое ограничение или отказ от всех ограничений? Представьте случай, что в некоем городе предложили закрывать все таверны в полночь и что противники этой меры настаивают: «В настоящий момент некоторые закрываются в одиннадцать — это вполне подходящее время: если вы примете этот закон, все будут работать до полуночи». Какой был бы ответ? «Тогда давайте ничего не делать» или «Тогда давайте установим в качестве ограничения одиннадцать». Наверняка здесь не нужно много слов: принцип совершения зла во имя добра вряд ли найдет многих защитников, даже в его современном обличье воздержания от совершения добра ради того, чтобы не произошло зло. Мы можем с уверенностью основываться на принципе исполнения того долга, который мы видим перед собой: второстепенные последствия вместе с тем находятся вне нашего контроля и за пределами наших расчетов.

Теперь давайте соберем в один абзац противоречия, содержащиеся в некоторых из этих заблужде-

ний (которые я здесь скорее попытался сформулировать и классифицировать, чем опровергнуть или даже обсудить в полном объеме), и таким образом представим в одном обзоре доводы противников вивисекции. Вкратце они сводятся к тому...

Что, в то время как мы не отрицаем абсолютно права человека обрывать жизнь низших животных безболезненной смертью, мы требуем основательной и достаточной причины для причинения боли.

Что предотвращение страданий человеческого существа не оправдывает причинение большего количества страданий животным.

Что главное зло практики вивисекции состоит в ее воздействии на нравственный характер вивисектора и что это воздействие является бесспорно деморализующим и ожесточающим.

Что усердный труд и способность переносить лишения не являются доказательством бескорыстного мотива.

Что терпимое отношение к одной форме зла не является оправданием для терпимого отношения к другой.

И наконец, что риск того, что законодательные меры усугубят зло, недостаточен для того, чтобы сделать нежелательными все законодательные меры.

Теперь, я думаю, мы увидели веские причины подзревать, что в основе этой отвратительной практики лежит принцип эгоизма. То, что тот же принцип, вероятно, является причиной безразличия, с которым среди нас воспринимается ее распростра-

нение, возможно, не настолько очевидно. Тем не менее я полагаю, что это безразличие основывается на молчаливой послышке, которой я предполагаю уделить внимание в качестве последнего из этого длинного списка заблуждений...

13. *Что практика вивисекции никогда не распространится настолько, что будет включать человека в качестве своего объекта.*

То есть, другими словами, что, в то время как вся наука присваивает себе право истязать по собственному желанию все чувствующие создания вплоть до самого человека, здесь проводится некая необъяснимая граница, через которую она никогда не осмелится переступить. «Пусть кляча с растертой холкой вздрагивает от боли, *нам* хомут шею не трет».

Не так уж невероятно, что когда библейский левит аккуратно шагал по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон, «смущенный размышлениями о ничтожных заботах», и изо всех сил старался делать вид, что не замечает тело, распростертое на противоположной стороне дороги, то, если бы невидимый глас прошептал ему на ухо: «Твоя очередь оказаться среди воров — следующая!» — возможно, в нем бы возникло внезапное чувство жалости: он мог бы даже, рискуя испачкать свои богатые одежды, присоединиться к самаритянину и помочь ему оказать помощь раненому человеку. И конечно, беззаботные левиты нашего времени проявили бы совершенно новый интерес к этому вопросу, если бы они только могли осознать возможное пришествие того дня, когда анатомия провозгласит закон-

ным объектом для экспериментов сначала наших осужденных преступников, а затем, возможно, пациентов наших приютов для неизлечимо больных, затем безнадежных сумасшедших, неимущих пациентов больниц, и вообще «тех, кому некому помочь». И это будет день, когда последовательные поколения студентов, наученных с младых лет подавлять все человеческие чувства, дадут нового и еще более ужасного Франкенштейна — бездушное существо, для которого наука будет всем.

*Homo sum! Quidvis humanum non a me alienum puto*¹.

И когда этот день настанет? О, мой брат-человек, ты, который заявляешь для себя и для меня права на такое гордое происхождение, прослеживая нашу родословную через человекообразную обезьяну к первобытному зоофиту, какое могучее заклинание ты припас, чтобы добиться освобождения от общей участи? Укажешь ли ты этому мрачному призраку, когда он будет жадно пожирать тебя глазами со скальпелем в руке, на неотъемлемые права человека? Он скажет тебе, что это всего лишь вопрос относительной целесообразности, что с таким слабым физическим развитием ты должен лишь быть благодарным, что естественный отбор так долго тебя щадил. Станешь ли ты упрекать его в бессмысленных пытках, которым он вознамерится тебя подвергнуть? Он с улыбкой заверит тебя, что гиперанестезия, которую он надеется вызвать, сама по себе чрезвычайно интересный феномен, заслу-

¹ Я человек! Ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

живающий большого тщательного изучения. Станешь ты тогда, собрав все свои силы для одного последнего отчаянного призыва, умолять его как своего собрата и с полной агонии мольбой «о пощади!» попытаешься разбудить в этой ледяной груди некую дремлющую искру сострадания? Лучше уж попроси об этом у кремня.

ДЕТИ И ТЕАТР

Я провел вчерашний день в Брайтоне, где в течение пяти часов наслаждался обществом трех исключительно счастливых и здоровых маленьких девочек возраста двенадцати, десяти и семи лет. Мы нанесли три визита в дома знакомых; мы провели длительное время на пирсе, где энергично рукоплескали чудесному подводному представлению мисс Луи Уэбб и бросали пенни в каждое механическое устройство, которое привлекало такие вложения и обещало взамен что-либо стоящее для тела или ума; мы даже совершили волнующий набег на штаб-квартиру компании, словно Шейлок с тремя сопровождающими его Порциями, чтобы потребовать «фунт плоти» в виде коробки шоколадных драже, которую страдающая диспепсией машина отказывалась нам выдать. Я думаю, что любой, кто мог бы увидеть энергию жизни в этих трех детях — глубину ощущений, с которой они наслаждались всем, большим или маленьким, что попадалось им на пути; кто мог бы наблюдать, как две младшие бегали наперегонки по пирсу, или мог бы услышать пылкие восклицания старшей в конце дня: «Нам так понравилось!» — согласился бы со мной, что

здесь по крайней мере не могло быть речи ни о чрезмерном «физическом напряжении», ни о какой-либо непосредственной опасности наступления «роковых последствий»!

Но ведь, разумеется, это не были театральные дети? Они никогда не участвовали ни в чем опаснее школьных состязаний? Далеко не так: все три работают в театре — старшая играет уже не менее пяти лет, и даже крошечное семилетнее создание уже появлялось в четырех драмах!

Но в таком случае, очевидно, сейчас у них каникулы, и в настоящее время они не страдают от «чрезмерно тяжелой нагрузки», работая в театре? Напротив, сейчас в Брайтоне играют одну драму, написанную мистером Сэвиллом Кларком, и в этой пьесе (она называется «Алиса в Стране Чудес») заняты все три ребенка, с самого Рождества с одним только месячным перерывом: самая младшая играет Соню, а также три других персонажа; вторая также играет, хотя это роль «без слов», в то время как самая старшая играет героиню, Алису, — пожалуй, самую трудную роль во всей пьесе и, я думаю, самую трудную из всех, что когда-либо исполнял ребенок: у нее не менее 215 реплик! На этой неделе они играли каждый вечер и два раза за день, до того как я с ними познакомился, второй спектакль длился при этом до десяти часов вечера, после чего они встали на следующее утро в семь часов, чтобы искупаться!..

*«Сент-Джеймс газетт»,
19 июля 1887 г.*

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕТИ

Закон, который, как мне кажется, желательно было бы принять, должен иметь примерно такой вид.

Что каждый ребенок младше шестнадцати лет (десять — слишком низкий предел), работающий в театре, должен иметь лицензию, ежегодно возобновляемую.

Что такая лицензия должна выдаваться только при условии, что ребенок прошел экзамен на определенный стандарт, адаптированный для возраста ребенка.

Что должен быть установлен лимит на количество недель в году, в течение которых ребенок может быть занят, и на количество часов в день, которое он или она могут проводить в театре. (Это требование ослабляется во время репетиций.)

Что, работая в театре, ребенок должен посещать какую-либо школу в течение определенного количества часов в дневное время, а в другое время — в обычные часы, если он посещает пансион. (Средние школы, вероятно, примут тот же принцип и разрешат половинное посещение в то время, когда ребенок занят в театре.)

Что требуется какая-то гарантия того, что девочки до шестнадцати лет будут иметь сопровождающих по дороге в театр и из театра.

Но я не верю, что закон может совершенно запретить детям до десяти лет играть в театре, не совершая тем самым жестокую несправедливость в отношении многих бедных семей, пытающихся свести концы с концами, для которых деньги, заработанные ребенком на сцене, — это дар Божий, и не делая многих бедных детей несчастными, запрещая им здоровое и невинное занятие, которое они обожают.

*«Санди таймс»
4 августа 1889 г.*

ПОДМОСТКИ СЦЕНЫ И ДУХ ПИЕТЕТА

Эта статья *не* будет замаскированной проповедью. Против этого я с самого начала заявляю протест, зная, насколько полностью практика — ошибочная практика, как я считаю, — ограничила это слово только лишь рамками религиозных тем и что читатель, скорее всего, только поспешно перевернет эту страницу, бормоча себе под нос: «*Ça n'a son gout*¹. Это предназначено для каких-то сектантов. У меня нет таких пристрастий: поговори со мной как человек, и я послушаю!»

Но это именно то, что я и собираюсь сделать. Я хочу поговорить с читателем, который посещает театр или сам пишет для театра, который, возможно, удостоит меня своим вниманием как человека: не как церковнослужителя, не как христианина, не как даже того, кто верит в Бога, — но просто как человека, который признает (это действительно очень важно), что существует различие между добром и злом; который понимает, что от злых людей и злых поступков происходит бóльшая часть бед в жизни, если не все беды.

¹ У каждого свой вкус (*фр.*).

И разве не может также слово «добро» иметь более широкое значение, нежели то, которое обычно используется? Разве не может оно, по всей справедливости, включать в себя все, что есть смелого, мужественного и истинного в человеческой природе? Несомненно, человек может почитать эти качества, даже если он не принадлежит вообще ни к какому из религиозных вероисповеданий! Поразительный пример такого рода «почитания» отмечен у разбойничьих племен Верхнего Скинды во время кампании сэра Чарльза Напьера (я цитирую по лекции Робертсона из Брайтона «О влиянии поэзии на трудящиеся классы»):

«Отряд солдат шел через долину; по бокам нависали скалы, на которых находился враг. Один из сержантов с одиннадцатью солдатами оказался отделен от остальных, выбрав другую сторону ущелья, из которой они рассчитывали скоро выйти, но которая неожиданно закончилась непроходимой пропастью. Командир подал сигнал, приказывая группе возвращаться. Они ошибочно приняли этот сигнал за приказ к атаке; храбрые парни ответили криками „ура!“ и бросились в атаку. На вершине крутого склона находилась площадка треугольной формы, защищенная бруствером, за которым скрывалось семьдесят вражеских бойцов. Солдаты двинулись вверх по одной из жутких троп, одиннадцать против семидесяти. Бой с таким соотношением сил не мог длиться долго. Один за другим пали солдаты: шестеро у самой площадки, остальные были отброшены назад; но только тогда, когда убили почти вдвое больше врагов.

Говорят, что у горцев существует такой обычай, что, когда один из их больших вождей погибает в битве, ему на запястье повязывают красную или зеленую нить; красная соответствует самому высокому рангу. Согласно обычаю, они раздели мертвых и сбросили их тела в пропасть. Когда пришли их товарищи, они обнаружили обнаженные трупы, покрытые ранами; но оба запястья каждого британского героя обвивала красная нить!»

В «почитании» таком, как это, я счастлив верить, что стандарт, достигнутый на театральной сцене, во всех отношениях столь же высок, как и в художественной литературе, и явно выше, чем то, что происходит, не вызывая протеста, в науке.

Возьмем, к примеру, отношение к пороку. В художественной литературе и во многих общественных кругах пороку потворствуют и свободно выражают в высшей степени низкие и эгоистичные чувства языком, который освистали бы в респектабельном театре, если он не вложен в уста сценического «злодея». В «Серебряном короле», которого я смотрел несколько лет назад, когда негодяй с манерами джентльмена, великолепно сыгранный мистером Уиллардом, поручил более грубому негодяю, своему подручному, отвратительную миссию выгнать из дома несчастную мать, у которой умирал ребенок, было приятно услышать такой приглушенный гневный свист, который пронесся по залу вслед этому подлецу, покидавшему сцену. И любой, кто видел эту прекрасную драму, я думаю, поверил бы вместе со мной, что те, кто так свистит, — какой бы злой ни была их собственная жизнь в некото-

рых случаях, — тем не менее переживают наилучшие моменты, когда занавес поднимается, когда они видят Грех во всей свойственной ему омерзительности и содрогаются при виде этого зрелища!

И в качестве примера понимания, проявляемого зрителями в отношении того, что является чистым и хорошим, я могу вспомнить свои впечатления о посещении театра несколько недель назад, когда я ходил смотреть «Золотую лестницу» (поставленную тем же самым добросовестным актером и импресарио — мистером Уилсоном Барреттом, — который подарил нам «Серебряного короля») и с радостью услышал аплодисменты, всколыхнувшие зрительный зал, аплодисменты, которые встретили монолог комичного старого зеленщика, мистера Джорджа Барретта, о его дочке, которой он дал претенциозное имя «Виктория Александра».

«И я дал ей эти два имени, потому что они самые лучшие имена из всех что есть!» Эти аплодисменты, казалось, говорили мне: «Да, само звучание этих имен — имен, которые вызывают в памяти королеву, чья безупречная жизнь уже на протяжении долгих лет является благословением народу, и принцессы, которая достойно последует ее стопами, — сладкая музыка для английских ушей!»

Несомненно, читатель вспомнит множество случаев, когда и партер и галерка проявляли в равной степени тонкое сочувствие вкупе с самоотверженностью, щедростью или любыми из тех качеств, которые облагораживают человеческую натуру. Я довольствуюсь еще двумя примерами.

Много лет назад я видел, как мистер Эмери играл героя «Не все золото, что блестит» — фабри-

канта с грубыми манерами, но с нежным сердцем; и я хорошо помню, как он заставил зал взорваться аплодисментами, когда, говоря о «работниках», которые трудились у него на фабрике, произнес такие слова: «И я бы не смог лечь в кровать и безмятежно заснуть, если бы думал, что среди них есть мужчина, женщина или ребенок, которые лягут спать голодными и холодными!» Какое имело для нас значение, что все это было выдуманной историей? Что «работники», о которых так нежно заботятся, были созданы воображением автора? Мы «отдавали дань уважения» не только этому актеру, но каждому человеку любого возраста, который когда-либо думал с любовью о тех, кто его окружает, который когда-либо «отдавал свой хлеб голодным и укрывал нагого одеждой».

Мой второй пример будет воспоминанием о величайшем актере, которого видело наше поколение, — о том, чье каждое слово и каждый жест казались вдохновенными и который заставлял тебя думать: «Я в его власти; он может заставить меня смеяться и плакать по своему желанию!» — я имею в виду Фредерика Робсона. Тот, кто когда-либо видел его в «Узле носильщика», вряд ли сможет забыть восхитительный пафос той сцены, когда старик-отец, пожертвовавший сбережениями всей своей жизни, чтобы спасти репутацию сына и послать его за границу, сговорился с девушкой, с которой помолвлен его сын, обмануть старуху-мать, чтобы ее не печалить, и читает ей письмо, которое якобы пришло от ее мальчика. В тайне от него любящая девушка решила отдать свой последний заработок

старикам и сделала в письме приписку: «Дорогая мама, дела у меня идут так хорошо, что я посылаю тебе эту пятифунтовую банкноту», на которую старик, читая письмо жене, натывается так неожиданно, что чуть не выдает весь план. Затем следует «реплика в сторону» — с таким забавным взглядом на зрителей, который еще никому не удавался так, как ему: «Ну и ну! С утра письмецо-то выросло!» И затем, неожиданно распознав стратегию девушки, грозит ей кулаком: «Ах ты, маленькая негодница!» Как сказал бы Бораччио, «я рассказываю эту историю отвратительно». Возможно ли, что любые мои слова могли передать читателю ту бесконечную нежность, которой были проникнуты эти произнесенные шепотом «слова невольной горечи»!

И теперь, прежде чем сузить сферу дискуссии и обсудить, как «почитание» обусловлено предметами, связанными с религией, я хотел бы также придать этому слову более широкий смысл, чем принято. Я подразумеваю под ним просто веру в *некое* доброе и невидимое создание, находящееся вне пределов человеческой жизни, как мы ее понимаем, и над ним, перед которым мы чувствуем себя ответственными. И я считаю, что «почитания» заслуживают самые деградированные виды «религии» как воплощение в конкретной форме принципа, который самый ярый атеист не боится почитать теоретически.

Эти предметы можно классифицировать под двумя заголовками, в соответствии с тем, как они связаны с принципом добра и с принципом зла. Под первым заголовком мы можем назвать божество

и добрых духов, акт молитвы, места поклонения и священнослужителей; под вторым — злых духов и грядущее наказание.

«Непочтительность», с которой иногда обращаются с такими темами как в театре, так и вне его стен, может быть отчасти объяснена тем фактом (который вряд ли можно упустить из виду), что ни одно слово не имеет *неразделимо* закрепленного за ним значения; слово означает то, что подразумевает под ним говорящий, и то, что понимает под ним слушающий, и это все.

Я встречаю знакомого и говорю ему: «Доброе утро!» Можно подумать, что это вполне безобидные слова. Однако возможно, что в каком-нибудь языке, который ни он, ни я никогда не слышали, эти слова могут нести в себе какие-то ужасные и отвратительные идеи. Но несем ли мы за это ответственность? Эта мысль может послужить для того, чтобы уменьшить ужасное впечатление от некоторых слов языка, используемого низшими классами, которые — и эта мысль утешает — представляют собой просто набор бессмысленных звуков в том, что касается говорящего и слушающего.

И даже там, где грубая речь кажется действительно достойной осуждения, как используемая осознанно и намеренно, я не думаю, что самые худшие примеры происходят на сцене; за ними вам придется обратиться к модному обществу и к популярной литературе.

Похоже, что ни одна из разновидностей анекдотов не способна с такой уверенностью позабавить общественный круг, как та, в которой знакомые

библейские фразы превращаются в гротескную пародию. Иногда пересказываются гадкие остроты, которые передают, как бы извиняясь и утверждая, что это сказал ребенок. «И конечно, — добавляется при этом, — *ребенок* не имел в виду ничего дурного!» Возможно: но *взрослый человек*, который таким образом унижает то, к чему должен относиться с почтением, всего лишь чтобы вызвать смех, тоже не имеет в виду ничего дурного?

И опять-таки, может ли терпеть такое остроумие любой, кто понимает, что означает «зло», например остроумие, которое нам предлагается в «Легендах Инголдсби», из уст бестелесных духов (в чьем существовании он вполне может сомневаться) или из уст живых мужчин и женщин? Должно ли проклятие всего рода человеческого, несчастье всех веков, служить нам темой для мимолетной *шутки*?

Но самые большие глубины осознанной и намеренной непочтительности, которые сохранились у меня в памяти, содержались, как это ни прискорбно говорить, в фразах *преподобных* шутников. Я слышал из уст священников анекдоты, чье ужасающее богохульство превосходило все, что было бы даже *возможно* на сцене. Дело ли тут в том, что длительное знакомство со священными фразами притупляет ощущение их смысла, я сказать не могу: это единственное оправдание, которое приходит на ум; и такая теория отчасти подкрепляется любопытным феноменом (который читатель может легко проверить на себе), что, если вы повторяете слово очень много раз подряд, каким бы осмысленным оно ни казалось вначале, в конце концов вы лишите его

всякой крупинцы смысла и будете почти что удивляться, как вы вообще могли что-нибудь под ним подразумевать!

Как определить, каковы пределы, до которых использование на театральных подмостках клятв или фраз, в которых упоминается имя Бога, может быть оправданно? С моей точки зрения, они кажутся непристойными, когда произносятся пренебрежительно и в шутку. Если они произносятся со всей серьезностью и с достойной целью, во всяком случае не следует осуждать их, кивая на Библию: один из самых прекрасных фрагментов ее поэтической прозы, известное «Не принуждай меня оставить тебя» и т. д., заканчивается явной клятвой: «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою». И именно скорее на общество, чем на театр, мы должны возложить вину за небрежное использование такого языка, распространенного среди последнего поколения, когда такие фразы, как «бог мой!», «господи боже!», постоянно используются для простого *подшучивания* и когда такая утонченная писательница, как мисс Остин, может заставить молодую леди сказать (в «Гордости и предубеждении»): «Господи, как мне должно быть стыдно, что в тридцать два года я еще не замужем!» Когда такие слова довольно часто встречались в обычной речи, они, возможно, не несли никакого смысла ни для говорящего, ни для слушающего; в наши дни они режут слух, ибо их неуместность заставляет нас осознать их значение. Когда Шекспир писал «Много шума», слова Беатриче: «О Боже, была бы я мужчиной!

Я съела бы его сердце при всех на рыночной площади» — и Бенедикта: «О боже, сэра, вот кушанье, которое мне по вкусу; терпеть не могу трещоток», несомненно, воспринимались на слух одинаково невинно; но в наши дни, хотя первое вполне можно было бы оставить как сказанное серьезно и в подходящей ситуации, то второе звучит фальшивой нотой, и я думаю, что мистер Ирвинг, вместо того чтобы смягчить его, превращая в «О господи!», поступил бы лучше, если бы вообще пропустил это восклицание.

К акту молитвы в театре почти неизменно относятся с почтением. Мой опыт показывает только один пример обратного, когда героиня балетной постановки, по сюжету находясь вечером в своих покоех, чтобы позднее подойти к окну и послушать серенаду своего возлюбленного, изобразила отталкивающую пародию на молитву. Но я не вижу возражений для ее изображения на сцене, если она представлена благочестиво, как в сцене из «Гамлета», когда мы видим Клавдия молящимся; и я хорошо помню грандиозное впечатление, которое произвел Чарльз Кин (в «Генрихе V» перед битвой при Азенкуре), преклонив колена для короткой страстной молитвы на поле боя.

Места поклонения также, когда их делают предметом театральных представлений, обычно показываются совершенно пристойно: нужно вспомнить оргии Армии спасения или непристойности уличного проповедника, чтобы понять, насколько можно опошлить религию и какой отвратительной фамильярностью можно оскорбить самые святые те-

мы. Недавно мы имели честь наблюдать пример изысканного вкуса и благочестивого подхода в сцене в церкви в «Много шума» в «Лицее». Тогда некоторые возражали против постановки любых подобных сцен, тем не менее, вероятно, никто из цензоров спектакля не станет осуждать «священные» картины. И несомненно, различие между картиной, нарисованной на холсте, и картиной, образованной живыми фигурами на сцене, более воображаемо, нежели реально. Для меня торжественная красота этой сцены внушала надежду, что кто-то может увидеть ее, кто-то, для кого понятия Бога, или молитвы, или рая были чужими, и подумать: «Значит, церковь *такая*? Тогда я и сам должен посмотреть!» Впрочем, там, конечно, присутствовала одна фальшивая нота, которая испортила красоту этой сцены. Диалог между Беатриче и Бенедиктом, со всем его тонким добродушным подшучиванием и изысканной комичностью, произносимый среди таких декораций, должно быть, причинил боль многим, для которых эта необыкновенная сцена была чистым наслаждением. Я искренне жалею, что мистер Ирвинг не смог найти способа перенести ее за стены церкви. Несомненно, у импресарио, который смог выдержать такую полностью чуждую духу этой сцены вставку, как «Поцелуйте мою руку еще раз!», не может быть слишком сильных доводов по поводу того, чтобы сохранить шекспировский текст в неприкосновенности!

Что же касается служителей культа, я не стал бы стараться защитить их от насмешек, *когда они этого заслуживают*; но разве иногда такие насмешки не бывают слишком уж неразборчивы? У мистера

Гилберта — ему мы глубоко обязаны и благодарны за чистый и здоровый смех, который он подарил нам в таких комедиях, как «Терпение», — похоже, имеется нездоровое пристрастие выставлять епископов и священников в неблагоприятном свете. Все же, неужели они отстали от других профессий в таких вещах, как искренность, усердный труд и жизненное призвание к чувству долга? Эта остроумная песенка, «Бледный молодой викарий», с ее очаровательной мелодией, просто вызывает у меня боль. Кажется, что я вижу, как он вечером идет домой, бледный и утомленный после рабочего дня, возможно, удрученный тлетворной атмосферой шумной мансарды, где, рискуя жизнью, он утешал умирающего человека, — и неужели твое чувство юмора, мой читатель, настолько едкое, что ты можешь смеяться над этим человеком? Тогда по крайней мере будь последователен. Посмейся также над тем бледным молодым врачом, которого ты в такой горячей спешке позвал к своему собственному умирающему ребенку; да, и посмейся также над бледным молодым солдатом, когда он падает на истоптанном поле и окрашивает пыль своей кровью, отдавая жизнь за честь Старой Англии!

И все же обратная сторона этой картины время от времени предстает перед нами на сцене, и нельзя желать более доброго и милого представителя старого века, чем «Уэйкфилдский викарий», в исполнении мистера Ирвинга, или более мужественного и рыцарственного героя, чем молодой священник в «Золотой лестнице», которого играет мистер Уилсон Барретт.

Распространенное отношение к таким персонажам, как злые духи, следует рассмотреть со свежей точки зрения. «Какого почитания, — можно было бы вполне уместно спросить, — заслуживает дьявол, независимо от того, верим мы в его существование или нет?» Мой ответ состоит в том, что, когда мы имеем дело с такими предметами, они, по крайней мере, заслуживают *серьезного* отношения. Самые мрачные деяния похоти или жестокости, которые разрушают человеческое счастье, часто кажутся несчастному результатом чьего-то влияния, а не его собственных мыслей; но, даже если отбросить такие факты, весь этот предмет слишком тесно связан с глубочайшими горестями жизни, чтобы быть подходящим предметом для шуток. Тем не менее как часто мы слышим в обществе смех, с которым встречается любой лукавый намек на дьявола, — да, смеются даже сами священнослужители, которые, если вся их жизнь не одна постоянная ложь, действительно верят, что такое создание существует и что его существование — это один из наиболее печальных фактов жизни.

В этом отношении, я думаю, тон театра не ниже, — сомневаюсь, что он может вообще быть столь же низким, — как в обществе. Такое представление, как то, что Ирвинг дает нам о «Мефистофеле», наверняка должно оказывать здоровое влияние. Кто может увидеть эту пьесу и не осознать, с яркостью, с которой мало кто из проповедников может соперничать, абсолютную *отвратительность* греха?

То же самое утверждение касательно серьезности отношения можно сделать о таких предметах,

как ад и грядущее наказание. В последнем поколении театр, в своем постоянном несерьезном использовании слов, связанных с «проклятием», просто следовал примеру общества; и приятно замечать, что пустые ругательства, которых уже не услышишь в приличном обществе, быстро исчезают и с подмостков сцены. Позвольте упомянуть один пример неправильного отношения к этому предмету в театре и завершить *двумя* примерами лучшего сорта.

Я никогда не видел талантливую пьесу мистера Гилберта «Передник» в исполнении взрослых актеров; я смотрел ее, когда ее играли *дети*, и один из фрагментов вызвал у меня невыразимую грусть. Это происходит, когда капитан произносит проклятие «черт меня подери!» и затем группа милых, невинного вида девочек поет с радостными, счастливыми лицами припев: «Он сказал: „Черт меня подери!“ Он сказал: „Черт меня подери!“ У меня нет слов, чтобы передать читателю ту боль, которую я испытал, увидев, как этих милых детей учат произносить такие слова, дабы усладить уши, бесчувственные к их ужасному смыслу. Поставьте эти два понятия рядом — ад (независимо от того, верите *вы* в него или нет: миллионы верят) и эти чистые юные уста, которые легкомысленно подшучивают над его ужасами, — и затем попытайтесь увидеть в этом что-нибудь *смешное!* Как мистер Гилберт мог опуститься до того, чтобы это написать, или сэр Артур Салливан мог проституировать свое благородное искусство, чтобы переложить на музыку такую отвратительную дрянь, — выше моего понимания.

Но я не такой уж пурист, чтобы возражать против *всех* таких аллюзий: когда они используются серьезно и с подобающей целью, я думаю, они вполне здоровы в своем воздействии. Когда героя «Золотой лестницы», которого французский офицер объявляет своим пленником, берет под свою защиту британский капитан (прекрасно сыгранный мистером Берниджем) и в ответ на восклицание француза: «Он есть мой пленный!» — следует громогласный вызов холеричного капитана: «Тогда, черт подери, поднимитесь на мой корабль и возьмите его!» — это проклятие ни в коей степени не звучит «непочтительно». Здесь не было пустого подшучивания: все было совершенно серьезно!

Еще один пример, и я закончу. Ни одна драматическая версия «Дэвида Копперфильда» не дотягивала бы до книги, если бы в ней была пропущена сцена, которая происходит после того, как Стирфорт сбегает с «малюткой Эмли», оставив обрученного с ней Хэма Пегготи с разбитым сердцем. Хэм приносит это известие своему отцу, и при этом присутствует Дэвид.

«— Мистер Дэви! — взмолился Хэм. — Выйдите на минутку, а я скажу ему то, что должен сказать. Не годится вам это слушать, сэр.

— Я хочу знать его имя! — снова услышал я.

— Последнее время... — заикаясь, начал Хэм, — сюда наезжал... один человек, слуга. И еще бывал здесь один джентльмен... Сегодня утром за городом видели чью-то карету и лошадей... Когда слуга подошел к ней, с ним была Эмли. Тот, другой, сидел в карете. Это тот самый человек.

— Ради бога! — пробормотал мистер Пегготи, отшатнувшись и вытянув руку, словно хотел отстранить от себя что-то, чего он страшился. — Не говорите мне, что его имя — Стирфорт!

— Мистер Дэви! — дрожащим голосом воскликнул Хэм. — Вашей вины тут нет... у меня и в мыслях не было вас винить... но его имя — Стирфорт, и он — последний негодяй!»¹

Критик, который бы воскликнул, став свидетелем такой сцены: «Ужасающая непочтительность! Это проклятие следует убрать!» — наделил бы слово «непочтительность» таким смыслом, которого я не вижу.

Могу ли я завершить аллюзией на отчетливо драматический тон значительной части языка Библии? Делая это, я не стремлюсь выступить с обращением специально к христианам: любой, кто обладает хоть каким-то литературным вкусом, признает, что по своей поэзии и чистоте пафоса она занимает высокое место в мировой литературе. Значительная часть яркой силы притч зависит от их драматического характера: можно представить себе, читая притчу о сеятеле, что повествование иллюстрировалось реальными событиями того времени: можно представить соседний склон с отчетливой линией горизонта, вдоль которой медленно движется фигура, четкая и черная на фоне яркого неба и сообщающая мерными взмахами руки что-то вроде ритмической каденции словам рассказчика.

Послужила ли когда-либо притча о блудном сыне основой для драматического произведения, я не

¹ Перев. А. Кривцовой и Е. Ланна.

знаю: общая идея, несомненно, использовалась неоднократно; но из самой истории, просто переложенной на современную жизнь, получилась бы чрезвычайно впечатляющая пьеса.

Первый акт, с его великолепием богатого дома, создавал бы живописный контраст со вторым, где мы увидели бы расточительного сына в обстановке кричащей и нарочитой пошлости, окруженного изнеженными, женственными мужчинами и неженственными женщинами, проматывающего свое состояние в «дальней стороне». В третьем акте можно было бы показать его падение, заканчивающееся глубоким отчаянием, затем перелом в чувствах, затем трогательные слова: «Встану, пойду к отцу моему!» — и, когда четвертый акт вернет нас в его отчий дом и покажет нам несчастного отверженного, который нерешительно замер у дверей, осыпaeмый насмешками толпы безразличных слуг, которые с радостью бы прогнали нищего назад к голодной смерти, и старика-отца, который устремляется из дома, чтобы прижать странника к своей груди, — не может ли так случиться, что некоторые глаза, даже у самых грубых завсегдатаев галерки, «увлажнятся самыми радостными слезами», и некоторые сердца наполнятся новыми и благородными мыслями, и пробудится дух «почитания» к «тому, что справедливо, к тому, что чисто, к тому, что прекрасно», — дух, который не исчезнет бесследно?

*«Театр»
июнь 1888 г.*

«ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ»

Наиболее распространенную разновидность затруднения, возникающую при рассмотрении этой доктрины, можно выразить следующим образом:

«Я верю, что Бог идеально добр. Тем не менее похоже, что я вынужден верить, что Он найдет вечное наказание на некоторые человеческие создания при обстоятельствах, которые сделают его, как говорит мое сознание, несправедливым и, следовательно, неправильным».

Выясняется, что, если выразить эту проблему в логической форме, она возникает из существования *трех* несовместимых посылок, каждая из которых очевидно претендует на наше согласие с ней. Это следующие положения:

I. Бог идеально добр.

II. Обрекать некоторые человеческие создания и при некоторых обстоятельствах на вечное наказание было бы неправильно.

III. Бог способен так поступить.

Простейший способ избежать этой проблемы состоит, несомненно, в том, чтобы оставить всю эту тему в покое. Но у многих такое отношение вызывает неприятные чувства; они чувствуют, что одна

из трех посылок должна быть ложной; и тем не менее от мысли о том, что одна из них ложна, у них возникает ощущение противоречия и растерянности.

Первое, что необходимо сделать, — это установить, если таковое возможно, какие две из указанных трех посылок имеют, по нашему мнению, наиболее глубокие и веские основания, и таким образом выявить, какая из трех должна быть поневоле отвергнута.

Итак, сначала давайте установим со всей возможной ясностью, что мы подразумеваем под каждой из этих трех посылок.

I. Бог идеально добр.

В том, что касается слова «добр», я полагаю, что читатель примет в качестве аксиомы, предшествующей любой из этих трех посылок, посылку, что понятия Правильного и Неправильного основываются на вечных и самосуществующих принципах, а не на случайном желании какого бы то ни было существа.

Я допускаю, что он соглашается с посылкой, что Бог желает что-либо, потому что это правильно, а не то, что что-либо правильно, потому что Бог это желает. Любой читатель, для которого эти допущения не верны, сможет без каких-либо затруднений отвергнуть посылку II и сказать: «Если Бог обречет на наказание, это будет правильно». Следовательно, он не относится к тем читателям, для которых я сейчас пишу.

Далее я допускаю, что данная посылка означает, что Бог всегда поступает в соответствии с веч-

ным принципом правильности, и что Он, следовательно, идеально добр.

II. Обрекать некоторые человеческие создания и при некоторых обстоятельствах на вечное наказание было бы неправильно.

Под словом «наказание» я здесь подразумеваю «страдания, навлеченные на человеческое существо, которое согрешило, *потому что* оно согрешило». Я использую слово «страдания», а не «боль», потому что последнее слово часто понимается как подразумевающее только физическую боль, в то время как душевная боль также может служить наказанием.

Отсюда мы можем сразу упростить нашу задачу, исключив из анализа случай обречения на страдания, когда грех существа не является необходимым условием. Подразумевая под «грехом» (как уже определено) «сознательный и *намеренный*» акт, в результате чего, если акт является *ненамеренным*, он прекращает быть грехом, мы можем не принимать во внимание кальвинистскую теорию, которая рассматривает обречение на страдания существ, неспособных воздержаться от греха, чьи грехи, таким образом, *ненамеренны*. Эта теория будет рассмотрена в другом месте.

Под словом «вечное» я подразумеваю «бесконечное».

Что касается человеческих существ, которые рассматриваются здесь как объекты вечного наказания, существуют три возможных случая, а именно:

(А) Случай с тем, кто перестал обладать свободой воли и кто, таким образом, далее не властен

грешить или каяться. В таком случае вечное наказание было бы страданием, причиняемым в течение бесконечного времени и, следовательно, являющимся бесконечным по своему объему, в качестве кары за грехи, совершенные в течение ограниченного периода времени.

(В) Случай с тем, кто сохраняет свободу воли и кто прекращает грешить, раскаялся во всех прошлых грехах и выбирает добро как *добро*. В данном случае также вечное наказание было бы бесконечным страданием, назначенным в качестве кары за грехи, совершенные в ограниченный период времени.

(С) Случай с тем, кто не подпадает ни под одно из этих описаний, то есть кто сохраняет свободу воли и продолжает бесконечно выбирать зло. В таком случае вечное наказание было бы бесконечным страданием, назначенным в качестве кары за бесконечный грех.

Я допускаю, что для читателя не составит никакого труда признать справедливость причинения постоянного страдания в качестве наказания за постоянный грех.

Следовательно, мы можем вообще исключить случай (С).

Мы можем также соединить случаи (А) и (В) в один и интерпретировать посылку II как допускающую, что было бы неправильным причинять бесконечные страдания человеческим существам, которые прекратили грешить, в качестве кары за грехи, совершенные в течение ограниченного периода времени.

Посылка III, судя по всему, не нуждается в каких-либо объяснениях.

Прежде чем продолжить, стоит заново сформулировать эти три несовместимые послылки, для того чтобы придать послылке II следующую форму:

I. Бог идеально добр.

II. Причинять бесконечные страдания человеческим созданиям, которые перестали грешить, в качестве наказания за грехи, совершенные в течение ограниченного периода времени, было бы неправильно.

III. Бог способен так поступить.

Нам известно совершенно точно, что по крайней мере одна из данных трех посылок ложна. Отсюда, каким бы непомерным ни был груз доказательств, с которым, судя по всему, каждая из них вынуждает нас согласиться, мы знаем, что по крайней мере одна из них может быть вполне обоснованно отвергнута.

Теперь давайте разберем их по одной и рассмотрим для каждой по очереди, каковы основания, на которых она вынуждает нас согласиться, и каковы были бы логические последствия, если бы мы ее отвергли. Вполне возможно, что тогда читатель сможет увидеть сам, какие две из трех посылок обладают наиболее сильными претензиями на его согласие и какую из них он, следовательно, должен отвергнуть.

Итак, во-первых, давайте рассмотрим послылку:

I. Бог идеально добр.

Основания, на которых эта послылка претендует на наше согласие, судя по всему, — это, во-первых,

некоторые *интуитивные ощущения* (в подтверждение которых, разумеется, нельзя предъявить никаких доказательств), такие как: «Я верю, что у меня есть свобода воли и что я способен выбирать правильное или неправильное; что я несу ответственность за свое поведение; что я не являюсь продуктом слепых материальных сил, но творением существа, которое наделило меня свободой воли и чувством правильного и неправильного и перед которым я несу ответственность и который, следовательно, идеально добр. И это существо я называю „Бог“».

И эти *интуитивные ощущения* находят для нас подтверждение тысячами способами: всеми фактами откровения, фактами нашей собственной духовной истории, ответами, которые мы получаем на наши молитвы, неодолимой убежденностью в том, что это существо, которое мы называем «Бог», *любит* нас любовью настолько замечательной, настолько прекрасной, настолько неизмеримой, настолько полностью незаслуженной, настолько необъяснимой ничем, кроме Его собственной идеальной доброты, что мы можем лишь пасть ниц перед Ним и смутно надеяться, что, возможно, когда-нибудь сможем любить Его любовью, более похожей на Его великую любовь к нам.

Исключение этой посылки практически означало бы для большинства из нас исключение веры в Бога и признание атеизма.

Во-вторых, давайте рассмотрим следующую посылку.

II. Причинять бесконечные страдания человеческим созданиям, которые перестали грешить, в ка-

честве наказания за грехи, совершенные в течение ограниченного периода времени, было бы неправильно.

Здесь наше исследование значительно упрощается, если мы начнем с рассмотрения того, каковы могут быть различные цели, во имя которых наказание, во-первых, может быть установлено и, во-вторых, приведено в исполнение; и каковы принципы, которые с точки зрения этих целей заставят нас рассматривать это установление и приведение в исполнение как правильные или неправильные.

Наказание, налагаемое человеческими существами друг на друга, неизбежно ограничено по своим целям. Мы не можем читать мысли других людей и, следовательно, никогда не можем знать, является ли на самом деле любое человеческое существо виновным или невиновным в том, что оно совершает. Соответственно, человеческое наказание никогда не может выходить за рамки очевидного действия: мы не осмеливаемся пытаться покарать мысли, какими бы греховными они ни были, если они не вылились в действие. И даже в этом случае наша основная цель должна обязательно состоять в том, чтобы спасти общество от вреда, который такие действия могли бы ему причинить. Отсюда в принципах, влияющих на наказание, когда оно налагается человеком, присутствует мало того, что мы могли бы с уверенностью использовать при рассмотрении наказания, налагаемого Богом. Однако есть один принцип, который явно в равной степени применим к обоим случаям: мы признаем, что необходимо соблюдать определенную пропорцию между величиной преступления и величиной нала-

гаемого наказания: например, мы без колебаний осудим как несправедливое поведение судьи, который, вынося приговор двум преступникам, устанавливает большее наказание тому, чье преступление явно меньше, чем у другого.

Но, с точки зрения Бога, наша вина состоит в греховном выборе, и мы справедливо считаем, что два человека, которые решили, в сходных обстоятельствах, совершить одно и то же преступление, будут одинаково виновны в Его глазах, даже если только один из них действительно совершил это преступление, в то время как второму случайно помешали выполнить свое намерение.

Отсюда мы можем допустить, что цель Бога в установлении наказания состоит в предотвращении греховного выбора со всем вытекающим из него злом. Как только наказание установлено, оно обязательно должно быть приведено в исполнение, если только не произошло изменение в обстоятельствах, принятых во внимание при его установлении. Мы можем легко представить себе человека, который установил некое наказание, но нашел веские основания для того, чтобы не приводить его в исполнение; например, он мог обнаружить, что совершил ошибку, устанавливая его, или что он упустил из виду какое-то непредвиденное обстоятельство. Мы можем даже представить, что человек угрожал наказанием, не имея никакого намерения приводить его в исполнение. Но ни одно из этих предположений невозможно в отношении наказания, установленного Богом. Мы не вправе считать, что Он может не знать о каком-либо из обстоя-

тельств или способен заявить, что Он сделает то, что на самом деле делать не намерен.

Мы должны доверять Его совершенному знанию людских мыслей, для того чтобы судить, кто виновен, а кто нет, и единственный принцип правильного и неправильного, который, судя по всему, логично применим в данном случае, — это ощущение, что должно быть соблюдено определенное соотношение между величиной греха и величиной наказания за него.

И здесь возникает еще одно соображение, которое, как я считаю, вызывает все затруднения и страдания, ощущаемые в связи с этим вопросом. Мы интуитивно чувствуем, что грехи, совершенные человеком в течение ограниченного периода времени, должны быть обязательно конечными по своей величине; в то же время наказание, продолжающееся в течение бесконечного периода, должно обязательно быть бесконечным по своей величине. И мы чувствуем, что такое соотношение несправедливо.

Предположим, что наказание ограничено для ограниченного греха, так что, если в любой период времени греховный выбор перестает существовать, наказание не будет бесконечным, и тогда, я думаю, такое затруднение больше не будет ощущаться, и мы будем готовы признать наказание заслуженным и, таким образом, наложенным справедливо; и также признать наличие множества хороших целей, таких как исправление грешника или предупреждение другим, которым может служить наказание.

Существует еще одно ощущение, которое, я думаю, характерно для большинства из нас и которое

мы еще не принимали во внимание. Оно состоит в том, что существует некая вечная необходимость, находящаяся полностью вне нашего понимания, необходимость того, чтобы грех заканчивался страданием. Этот принцип, как я считаю, окутан непостижимой загадкой искупления и, возможно, в какой-то степени делает ее для нас более достоверной. И я думаю, этот принцип следует учитывать при рассмотрении данного вопроса.

Также существует проблема, о которой, вероятно, подумают некоторые читатели и которую следует здесь отметить. Это сомнение в том, может ли человек, который обуздывает и выбрасывает из головы греховное желание просто из-за страха *наказания*, действительно быть менее *виновным* с точки зрения Бога. Можно рассуждать так: «Если допустить, что божественную кару навлекает порочное желание независимо от того, заканчивается ли оно порочным *действием*, для того чтобы ее установление могло служить предотвращению появления такого желания, следует понять и то, что Бог требует, чтобы мы любили добро как добро и ненавидели зло как зло. Если человек обуздывает порочное желание просто из страха наказания, а не потому, что это желание порочно, прекращает ли он в результате грешить?» Думаю, что здесь необходимо признать, что установление наказания за порочные желания само по себе не порождает любовь к добру как к добру и ненависть к злу как к злу. Тем не менее оно, очевидно, может помочь в этом смысле. Я полагаю, Бог использует такие мотивы, которые наилучшим образом соответствуют насущной не-

обходимости; в какой-то момент, возможно, страх может быть единственным мотивом, который оказывает влияние на грешника; позднее, когда из-за страха формируется привычка к самоконтролю, порочное желание может быть обуздано мыслью о том, что поощрение его способно привести к действиям, которые человек начал смутно распознавать как порочные; еще позднее, когда это узнавание становится все более ясным, можно обратиться к более высокому мотиву (такому, как человеческая любовь); а еще позднее к любви и к добру как к добру и любви к Богу как Существу, чья суть — доброта.

Теперь, когда все это учтено, мне кажется, что в результате возникает непреодолимое ощущение того, что бесконечное наказание за ограниченный грех было бы несправедливым и, следовательно, неправильным. Мы чувствуем, что даже слабый и заблудший человек избегал бы таких действий. И мы не можем представить, чтобы Бог действовал согласно более низким стандартам правильного и неправильного. Если говорить словами Дина Черча, «можем ли мы быть настолько сострадательными и настолько справедливыми и не можем ли мы верить, что и Он такой же?»

Отбросить это ощущение и принять как справедливое и правильное действие наложение на человеческие существа бесконечного наказания за ограниченный грех — значит отказаться от *Сознания* как руководящей силы в вопросах правильного и неправильного и пуститься в плавание без руля или компаса в безбрежный океан неизвестности.

Если мы займем такую позицию, нам придется столкнуться со следующими вопросами: «Почему я принимаю все, что делает Бог, как правильное, хотя мое сознание заявляет, что это неправильно? Не потому ли, что Он мой Творец? Какие у меня основания считать, что власть творения является гарантией доброты? Или же это происходит потому, что Он любит меня? Но я уже знаю, что любить могут и злые существа. Нет. Единственное разумное основание для того, чтобы признать то, что Он делает, как правильное, — это, судя по всему, уверенность в том, что Он идеально добр. Но как я могу быть в этом уверен, если я отверг как бесполезное единственный ориентир, который у меня есть для различения между правильным и неправильным, — голос Сознания?»

Именно с такими проблемами мы сталкиваемся, если предполагаем следовать по второму возможному пути и отвергнуть посылку II.

Третий возможный путь состоит в том, чтобы принять посылки I и II и отвергнуть посылку III. Таким образом, мы должны будем занять следующую позицию:

«Я считаю, что Бог *так* не поступит. Вместе с тем я также считаю, что если Он объявил, что поступит определенным образом, то Он это сделает. Отсюда я считаю, что Он не заявлял, что Он это сделает».

Проблемы, связанные с выбором этого третьего пути, можно хорошо продемонстрировать на еще одной группе несовместимых посылок:

1. *Бог не заявлял, что Он так поступит.*

2. *Все, что говорит нам Библия об отношениях между Богом и человеком, истинно.*

3. *Библия говорит нам, что Бог заявил, что Он так поступит.*

Поскольку вместе все три послышки не могут быть верными, принятие (1) автоматически вызывает исключение или (2), или (3).

Если мы исключим (2), то сразу будем вовлечены в решение всех проблем, связанных с вопросом о библейском вдохновении. Теория о Полном вдохновении, согласно которой каждое утверждение в Библии — абсолютная и неопровержимая истина, в наше время значительно видоизменена, и сейчас большинство христиан, я думаю, соглашались с наличием в Библии человеческого элемента и с возможностью человеческой ошибки в таких ее утверждениях, которые не связаны с отношениями между Богом и человеком. Но что касается таких утверждений, то, судя по всему, существует общее мнение, что Библия защищена от ошибок изначально Божественным Промыслом: по сути дела, если воспользоваться какой-либо другой теорией, было бы трудно сказать, какова тогда ценность Библии или с какой целью она могла быть написана.

Судя по всему, наиболее вероятный путь состоит в том, чтобы отвергнуть послышку (3). Давайте рассмотрим, какие проблемы могут быть с этим сопряжены.

Теперь мы, предположительно, заняли следующую позицию: «Я не верю, что Библия говорит нам, что Бог заявил о том, что Он наложит вечное наказание на человеческие существа, которые или

не способны согрешить, или, будучи способными согрешить, прекратили грешить».

Стоит напомнить читателю, что, занимая эту позицию, он полностью избавляется от первоначальной проблемы, ради которой мы начали это обсуждение. И насколько значительно она отличается от того, что мы рассматривали в качестве первого возможного для нас пути! Это заставило бы нас отрицать самое христианство; это, без сомнения, влечет за собой множество проблем, но все они принадлежат к бесконечно менее важной области библейской критики.

Читатель, который не может, то ли из-за нехватки времени, то ли ввиду недостатка необходимых знаний, исследовать этот вопрос самостоятельно, должен поневоле принять мнение других; и все, что ему нужно здесь сказать, это то, что толкование фрагментов, которые, как считается, учат доктрине «вечного наказания», в основном, если не полностью, зависит от смысла, которым наделяется одно-единственное слово (αἰών). Оно переведено в наших английских Библиях словом «вечный» или «длящийся вечно»; но есть много критиков, которые считают, что оно не обязательно означает «бесконечный». Если это так, тогда кара, которую мы обсуждаем, является ограниченным наказанием за ограниченный грех, и первоначальная проблема, таким образом, исчезает.

В заключение я сведу вместе различные способы избежать первоначальной проблемы, которые можно применить, не нарушая строгие законы логического рассуждения. Они таковы:

(1) «Я считаю, что наложение бесконечного наказания на человеческие существа за грехи, совершенные в течение ограниченного периода времени, было бы несправедливо и, следовательно, неправильно. Вместе с тем я не могу отрицать тот факт, что Бог заявил о своем намерении так поступить. Соответственно, я считаю Его способным на совершение греха».

Это бы практически означало отказ от христианства.

(2) «Я считаю, что Бог идеально добр и, следовательно, наложение такого наказания было бы правильным, несмотря на то что мое сознание заявляет, что это неправильно».

Это практически означало бы отказ от сознания как направляющей силы для различения правильного от неправильного и лишило бы фразу «Я считаю, что Бог идеально добр» какого-либо разумного смысла.

(3) «Я считаю, что Бог идеально добр. Я также считаю, что наложение такого наказания было бы неправильным. Соответственно, я считаю, что Бог не способен так поступить. Я нахожу, что Библия говорит нам, что Он способен так поступить. Соответственно, я считаю, что на то, что Библия говорит нам об отношениях между Богом и человеком, нельзя полагаться как на истину».

Это практически означало бы отказ от Библии как книги, заслуживающей доверия.

(4) «Я считаю, что Бог идеально добр. Я также считаю, что наложение такого наказания было бы неправильным. Соответственно, я считаю, что Бог

не способен так поступить. Я нахожу, что Библия в своей английской версии, судя по всему, говорит нам, что Он способен так поступить. Вместе с тем я верю, что это книга, вдохновленная Богом и защищенная Им от ошибок в том, что она рассказывает нам об отношениях между Богом и человеком, и, следовательно, на то, что она говорит, в соответствии с действительным смыслом слов, можно полагаться как на истину. Соответственно, я считаю, что слово, переведенное на английский как „вечное“ или „длящееся вечно“, было переведено неверно и что Библия на самом деле не утверждает большее, нежели то, что Бог назначает страдания неизвестной длительности, но не обязательно вечные, в качестве кары за грехи».

Можно занять любую из приведенных четырех точек зрения, не нарушая при этом законы логического рассуждения.

На этом завершается моя настоящая задача; поскольку моей целью было на протяжении данного анализа не указать одно направление в противовес другому, но помочь читателю ясно увидеть, каковы возможные пути и что он практически признает или отрицает, выбирая какой-либо из них.

СЛОВО К ДЕТЯМ

Однажды в воскресный день маленькая девочка по имени Маргарет отправилась на службу, посвященную празднику урожая. Церковь была красивой, украшенной цветами и фруктами, ее наполнили звуки прелестной музыки благодарственного молебна. И проповедник говорил о великой любви и доброте Бога, дающего нам все, чем мы обладаем, и о том, что мы должны стараться показать Ему нашу благодарность, предлагая, в свою очередь, все самое лучшее, что у нас есть. Некоторые из нас — и особенно дети, — возможно, думали, что им нечего дать или у них нет ничего стоящего, чтобы предложить Богу, но проповедник сказал, что Бог примет даже маленькое проявление любви или простые добрые поступки по отношению к одному из его творений и что дети, особенно, могут их сделать, если постараются.

Когда служба закончилась и люди разошлись, маленькая Маргарет задержалась в церковном дворе, думая о том, что сказал проповедник, и жаворонок выпорхнул из-под ее ног и запел, взмывая в голубое небо так радостно, что Маргарет сказала себе: «Ах, он старается поблагодарить Бога как может;

как бы я хотела, чтобы было что-нибудь, что могла бы сделать и такая маленькая девочка, как я!»

Она села на траву под ярким солнышком, чтобы подумать, и заметила растущий неподалеку розовый куст, и еще увидела, что розы свесили свои головки, довольно сильно подсохшие на солнце из-за недостатка воды. Поэтому она побежала к ручью, набрала в пригоршню воды, побежала обратно и выплеснула воду на розы. Она сделала это еще раз и еще, и розы ожили.

Тогда маленькая Маргарет встала и пошла дальше, пока не увидела домик, на пороге которого сидел ребенок и горько плакал, потому что у него сломалась игрушка. Это была бумажная ветряная мельница, и ее крылья смялись и больше не крутились. Маргарет взяла у ребенка игрушку и расправила крылья, и тут подул ветер и весело завертел ими, так что ребенок протянул ручки и засмеялся от радости.

Потом маленькая Маргарет подумала, что ей пора домой, но когда она снова проходила мимо ручья, то увидела маленькую коричневую птичку, барахтавшуюся в воде. Птенец упал с ветки и уже тонул, слабея с каждым отчаянным движением. Тогда Маргарет ухватила за сук и, потянувшись, насколько могла, второй рукой выхватила птичку из воды и благополучно положила ее на берег.

Теперь она почувствовала, что очень устала, и наконец отправилась домой. Она поднялась в свою комнату, легла на свою маленькую кроватку, очень бледная и неподвижная, и закрыла глаза. И тогда сказала себе: «Должно быть, это смерть — да, я уми-

раю и скоро совсем умру». И ее друзья пришли к ней и сказали: «Ах, она умирает, бедная маленькая Маргарет».

Но роза, которая росла в саду у дорожки, услышала это и начала расти, и карабкалась вверх и росла, пока не достигла окна, а потом заползла через окно в детскую и заплела все стены и кроватку, пока всю комнату не наполнили своей свежестью гирлянды прелестных роз. И розы склонялись над бледным личиком Маргарет, пока на ее щеках не начал появляться слабый розовый румянец. И как раз тогда в окно подул мягкий ветерок и начал обдувать ей лицо, а в саду так красиво запела маленькая коричневая птичка, что Маргарет улыбнулась, открыла глаза и... ну что ж, она все еще сидела на траве возле церкви, на нежном солнце — потому что это был сон!

Я прочитал эту историю сегодня в одной книжке и отложил ее, чтобы рассказать вам, дорогие ребята; но теперь я расскажу вам три истории о любви и доброте. Потому что —

Тот молится хорошо, кто хорошо любит —
И человека, и птицу, и зверя.

Примерно лет сорок назад была одна великая певица, которую звали Дженни Линд, и ее голос и пение были настолько прекрасны, что у людей, слушавших ее, возникало чувство, что они слышат ангела. И они приходили целыми толпами и платили любые деньги, чтобы послушать, как она поет.

Однажды, когда она пела в Манчестере, она попала под дождь во время утренней прогулки и

укрылась в бедном маленьком домике, где жила одинокая бедная старая женщина. Дженни Линд заговорила с ней, и бедная женщина (конечно, не зная, кто ее гостя) рассказала ей о замечательной певице, которая, «как ей сказали, будет петь сегодня днем», и о том, как все «сходили с ума», желая ее послушать, и как сильно-сильно она жалеет, что не может тоже ее послушать. Но, конечно же, это невозможно «для такой бедной старухи, как я!». Тогда Дженни Линд сказала старой женщине, что она и есть та певица, и добавила: «И я вам спою». И сразу же, прямо там, в этом бедном маленьком домике, великая певица спела три или четыре из своих самых прекрасных песен и исполнила для бедной старой женщины желание ее сердца.

И еще — человек, шагавший по проселочной дороге, услышал такое сильное хлопанье крыльев и чириканье в живой изгороди, что остановился посмотреть, что бы это могло быть; и он увидел, что маленький птенец выпал из гнезда и его крылья застряли в ветвях. Рядом суетилась его мать, которая хлопала крыльями и кричала изо всех сил, но была не в силах освободить своего малыша. Она не двигалась, пока человек аккуратно поднимал птенца и клал его в гнездо, но потом сразу же и сама запрыгнула в гнездо и распростерла крылья над малышами, не подавая никаких признаков страха, но в полной уверенности в человеке, который пришел ей на помощь.

А теперь еще одна правдивая история, и это история о доброте ребенка к одному из Божих творений. Я думаю, вы все услышите о Флоренс Най-

тингейл. Ее имя будет наполнять теплом сердца всех англичан, покуда они существуют, — имя одной из самых благородных женщин Англии, ибо она была первой, кто решил ухаживать за нашими бедными ранеными солдатами на поле боя.

С самого детства Флоренс Найтингейл всегда хотела помогать и лечить тех, кто испытывает боль, и ее первым пациентом была собака! Она была всего лишь ребенком, когда однажды повстречала знакомого пастуха и тот был сильно расстроен, потому что его верный пес, служивший ему долгие годы, был близок к своему концу. Какие-то жестокие мальчишки — или, я скорее сказал бы, бездумные мальчишки — побили бедного старого пса камнями, и он пострадал так сильно, что только и смог приползти домой умирать! Он был почти при смерти. «Теперь ему конец, и я должен покончить с ним», — сказал пастух и грустно пошел прочь, чтобы хоть как-нибудь утешиться.

Флоренс Найтингейл села возле бедного страдающего существа, чувствуя, как сердце разрывается от жалости. И тут она увидела, как мимо проходит человек, который, как ей было известно, знал все о животных, и, позвав его в дом, она показала ему пса. Осмотрев его, ее знакомый сказал: «Что ж, он очень плох, но кости не сломаны; все, что ты можешь сделать, — это намочить какие-нибудь тряпки в горячей воде, выжать их и положить на раны, и продолжать так делать в течение долгого времени». И девочка сразу же принялась за дело, разожгла огонь, вскипятила воду и упорно продолжала свою работу в течение многих часов, и, к ее радости, ста-

рый пес начал выздоравливать и чувствовал себя все лучше и лучше. Когда пастух вернулся домой, Флоренс Найтингейл сказала ему: «Ну-ка, позовите его! Ну позовите!»; и он позвал старого пса, а тот поднялся и поприветствовал своего хозяина.

Тот молится лучше всех, кто любит лучше всех.
Все — и большое, и малое;
Ибо Господь, который любит нас,
Сотворил и любит всех.

А теперь, дорогие ребята, я хочу, чтобы вы мне обещали, что вы — каждый из вас — постараетесь каждый день совершать какой-нибудь любящий, добрый поступок для других. Возможно, вы на самом деле никогда раньше не старались; так начнете сегодня — в начале новой недели? Прошлая неделя ушла навсегда; эта неделя будет совсем другая. Так же как вы стираете с доски ответ по арифметике, который не получился, и начинаете снова, так же точно оставьте в прошлом непослушание, или себялюбие, или дурной нрав прошлой недели и начните с самого начала стараться делать все, что в ваших силах, каждый день, чтобы исполнять Божий закон любви.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ОХОТА НА СНАРКА. Агония в восьми воплях <i>Перевод Г. Кружкова</i> | 5 |
| РАССКАЗЫ | |
| <i>Перевод А. Боченкова</i> | |
| Замок Крандл | 37 |
| Трость судьбы | 51 |
| Вильгельм фон Шмиц | 73 |
| Необычная фотография | 92 |
| Шотландская легенда | 98 |
| Искусство и красота | 107 |
| Выходной день фотографа | 120 |
| ПИЩА ДЛЯ УМА. Эссе и послания | |
| <i>Перевод А. Боченкова</i> | |
| Пища для ума | 133 |
| Несколько советов по этикету, или Как вести себя на званых обедах | 141 |
| Визит к Теннисону | 144 |
| Вивисекция как символ новых времен | 151 |
| Некоторые распространенные заблуждения в отношении вивисекции | 158 |
| Дети и театр | 176 |
| Театральные дети | 178 |
| Подмостки сцены и дух пиетета | 180 |
| «Вечное наказание» | 197 |
| Слово к детям | 213 |

Кэрролл Л.

К 98 Охота на Снарка : поэма, рассказы, эссе / Льюис Кэрролл ; пер. с англ. А. Боченкова, Г. Кружкова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 224 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-10132-6

Литературный шедевр Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка» более ста лет пребывал в тени двух «Алис», а современники писателя отзывались о нем как о «бредовом и безвредном полете фантазии». Нынешние исследователи творчества Кэрролла считают «Охоту на Снарка» не только великим триумфом мастера, но и центральным произведением классической английской поэзии нон-сенса. В настоящем издании, помимо «Охоты на Снарка» в лучшем переводе Г. Кружкова, представлены рассказы Кэрролла, а также сборник эссе и посланий под названием «Пища для ума».

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ
ОХОТА НА СНАРКА

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Светлана Федорова, Маргарита Ахметова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 03.06.2015. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 9,87. Заказ № 0621/15.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YAKB1816001R

Фредерик Бегбедер УНА & СЭЛИНДЖЕР

НОВЫЙ РОМАН ОТ АВТОРА «ЛЮБОВЬ
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» И «99 ФРАНКОВ»



Жанр своей новой книги «Уна & Сэлинджер» Фредерик Бегбедер с присущим ему стремлением эпатировать определяет как «faction»: от английского «fact» («факт») плюс «fiction» («вымысел»). Факты просты: 1940 год, Нью-Йорк. 21-летний начинающий писатель Джерри Сэлинджер знакомится с 15-летней Уной О'Нил, дочерью известного драматурга. Идиллия продлилась недолго, через несколько месяцев японцы напали на Пёрл-Харбор, и Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую. Сэлинджер отправился воевать в Европу, а Уна решила попытать счастья на кинопробах к фильму Чарли Чаплина. Она получила главную роль в жизни великого комика, став его женой. Сэлинджер честно воевал, потом пробивался через журнальные публикации в большую литературу и наконец создал свою главную вещь – «Над пропастью во ржи». Но Бегбедера интересуют не столько факты, сколько волшебная встреча героев, которая обернулась разлукой на всю жизнь, став тем, что эту жизнь определяет.

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги – это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, non-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ

В Москве:

ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге

Тел.: (812) 327-04-55

факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

тел./факс: (044) 490-99-01

E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах,
а также условия сотрудничества
на сайтах

www.azbooka.ru

www.atticus-group.ru



Литературный шедевр Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка» более ста лет пребывал в тени двух «Алис», а современники писателя отзывались о нем как о «бредовом и безвредном полете фантазии». Нынешние исследователи творчества Кэрролла считают «Охоту на Снарка» не только великим триумфом мастера, но и центральным произведением классической английской поэзии нонсенса. В настоящем издании, помимо «Охоты на Снарка» в лучшем переводе Г. Кружкова, представлены рассказы Кэрролла, а также сборник эссе и посланий под названием «Пища для ума».



Льюис
КЭРРОЛЛ
1832 – 1898



В оформлении обложки
использована иллюстрация
Г. Холидея

www.azbooka.ru

ISBN 978-5-389-10132-6

01



9